

Ю.Ф. Богданов

Времена, события, судьбы

Семейная хроника XX века



2014

Ю.Ф. Богданов

Времена, события, судьбы

Семейная хроника XX века

2014

Книга охватывает истории семьи автора и знакомых ему людей, начиная с 1900 года, и повествует о его детстве, юности, начале взрослой жизни, о его родителях в пору их молодости и во второй половине их жизни, и заканчивается некоторыми событиями начала XXI века.

Фото на обложке:

Наталия Алексеевна Ляпунова и Юрий Фёдорович Богданов с сыновьями Андреем Юрьевичем (в центре) и Николаем Юрьевичем в день 70-летия Наталии Алексеевны. 7 июля 2007 года.

Содержание

Часть I. МОИ РОДИТЕЛИ В 1900–1940 ГОДАХ И МОЁ ДОВОЕННОЕ ДЕТСТВО	7
Мои родители	7
Отец	8
Мама	12
Моё раннее детство. Свердловск. Тридцатые годы	20
О бабушке и дедушке — маминых родителях	30
Воспоминания и размышления о моем воспитании.	32
Финская война. Эвакогоспиталь № 1705	34
Мы остаёмся без папы	37
Москва, 1941 год.	41
Часть II. ВОЙНА	45
Свердловск, 1941 год.	45
Дворовая жизнь	51
Возвратный тиф, 1942 год	56
Зима 1942–43 годов. Оборона Сталинграда. Карточная система	59
Лето 1943 года. Навыки сельской жизни. Ещё раз о бабушках.	62
Военная осень 1943 года.	64
Первая школа	65
Алик Кабаков. Судьба детей войны	67
Больница инвалидов Отечественной войны	68
Зима 1943–44 и лето 1944 годов. Продовольственная экспедиция	71
Осень 1944 года. Переезд в Москву	75
О чувствах. Беседа с читателем	79
Часть III. ЗАКОНЧИЛИСЬ 10 ЛЕТ ЖИЗНИ НА УРАЛЕ.	81
Первая московская квартира	81
Знакомство с ребятами-москвичами	85
Школа-семилетка № 430	87
Конец войны	87
Мой старший товарищ Алёша	87
Красная Армия — в Германии!.	89
Я — счастливый человек!.	91
Что стало главной проблемой моей школьной учёбы.	92
Жизнь вне школы	96
Как я проводил летние каникулы	100
Мелкие происшествия и гнев отца	105
Часть IV. В СТАРШИХ КЛАССАХ ШКОЛЫ И ПОСЛЕ ШКОЛЫ	109
Учителя старших классов, и как я учился.	110
Как известно, жизнь школьная — не только в уроках	112
Мои путешествия в ранней юности	114
Об одноклассниках	117

Куда поступать после школы?	120
Борьба за школьную медаль	121
Поступление в университет	123
О летних студенческих каникулах и практиках	125
Часть V. НАЧАЛО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ	126
О девушках.	126
Женитьба	131
Часть VI. МОИ РОДИТЕЛИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ИХ ЖИЗНИ	137
Волевые поступки моей мамы	137
Работа отца в Свердловске и переезд в Киев	141
Судьба Наталии Ивановны Киселевской	144
Наши семейные поездки в Киев	145
Поездка мамы в Свердловск в конце 1960-х годов	148
Последнее увлечение отца	149
Внезапное заболевание отца	151
Тяжелая болезнь отца	152
События 1973–1974 годов	157
Последние годы жизни мамы	161
Начало взрослой жизни наших сыновей	164
Урок сравнения	166
О других моих родственниках	169
Оглядываясь назад	174
Вместо заключения	175
Немного об истории поколения моих родителей	175
Как оценивать родителей?	179
<i>Приложение.</i>	
Документы и рассказы о В.Я. Тарковской и Ф.Р. Богданове	183
Ванда Яновна Тарковская	184
В.Я. Тарковская. Воспоминания ортопеда 20-х годов	185
Фотографии и документы из жизни В.Я. Тарковской	189
Фёдор Родионович Богданов	214
Из книги «Хирург Фёдор Богданов. К столетию со дня рождения»	215
Ю.Ф. Богданов. О моём отце Фёдоре Родионовиче Богданове	215
А.А. Герасимов. Наследие Богданова	221
В.И. Фишкин. О моём учителе	223
И.Д. Глазырин. Человек, определивший мою судьбу	225
Фотографии из жизни Ф.Р. Богданова	227

В каждом человеке есть обольщение
собственной жизнью...

Андрей Платонов

Эта небольшая книга написана для семейного архива, для моих сыновей и внуков. На своём опыте я понял, как важно и интересно знать о жизни родителей и дедов. Интерес к этому возникает не сразу. Он появляется с возрастом, и становится досадным, если начинаешь понимать, что недостаточно знал о своих родителях. В их жизни, безусловно, были те же самые проблемы, с которыми встречаешься сам, и не всегда знаешь, как их решать. Из опыта родителей можно (или можно было бы) почерпнуть что-то важное для себя. И вообще, кто-то сказал, что настоящая история — это сумма частных историй жизни разных людей.

Эпиграф, взятый для повести, понравился мне своей откровенностью. Но это только первая часть фразы самобытного писателя Андрея Платонова. Полностью фраза звучит так: «В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, поэтому для него каждый день — сотворение мира». Мне кажется, что только первая часть этой фразы имеет абсолютное значение. Вторая часть: «...поэтому для него каждый день — сотворение мира» — справедлива лишь для некоторых дней детского и юношеского возраста. Вся фраза выхвачена из неизвестного мне текста. Она была выбрана редакторами «Радио России» для рекламы своей радиостанции. Для них это — находка. Они каждый день пытаются отображать события мира. Пусть им повезёт! Мое же детство прошло в сопровождении передач Всесоюзного радио, которое звучало из чёрной «тарелки», так называли репродуктор 30–40 годов XX века. Помимо безудержной пропаганды идеалов строительства социализма, побед на фронте и в тылу, «советского образа жизни» это радио несло знания и культуру для миллионов детей и делало тем самым хорошее дело. Есть польза и от «Радио России», оно умнее и полезнее большинства каналов отечественного телевидения.

Но пора перейти к повествованию о том, почему судьба моих родителей была благополучной для трудного XX века, а моя — вполне счастливой на фоне многих других детских судеб.

Однако для внуков и правнуков осмелюсь напомнить, почему XX век был трудным.

В 2014 году весь мир отмечает 100-летие со дня начала Первой мировой войны. В Российской Империи она унесла жизни нескольких миллионов

человек и спровоцировала две революции 1917 года, затем Гражданскую войну 1918–1920 годов. Революция и Гражданская война принесли стране новые жертвы, разруху, голод и переворот в укладе жизни всего населения... Поинтересуйтесь в интернете!

Затем были «Новая экономическая политика» (НЭП), рост массовой грамотности, коллективизация («раскулачивание»), индустриализация (Сталинские «пятилетки») — 1929–1940 гг.; массовые репрессии населения (1920–1927 и 1930–1939 гг.). После этого — Вторая мировая война (1939–1945 гг.) и самая кровавая её часть на территории СССР и Восточной Европы (1941–1945), которую называли Великой Отечественной войной (ВОВ), она унесла 26,5 **миллионов** жизней советских людей (каждого десятого жителя СССР), 6 или 8 миллионов жизней немцев, и много, много жизней граждан Польши, Франции, Италии и других европейских стран (а ещё японцев, индонезийцев и других...) — см. в справочниках.

Вслед за этим были великая Победа над нацизмом, восстановление кошмарно разрушенной страны, новые «пятилетки», новые репрессии населения, «строительство коммунизма», плавно перешедшее в построение «развитого социализма», оказавшегося в итоге «застоем». Затем антикоммунистический переворот августа 1991 года, распад СССР (декабрь 1991 года), антисоветский переворот октября 1993 года (исчезли Советы народных депутатов) и плавное вступление в «посткоммунистическое общество» с локальными «межнациональными конфликтами» по окраинам бывшего СССР и нынешней Российской Федерации.

Вот таким был общественно-политический фон, на котором жили персонажи этой книги, о которых вы прочтёте, если хватит интереса или терпения.

Часть I

МОИ РОДИТЕЛИ В 1900–1940 ГОДАХ И МОЁ ДОВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Мои родители

Мои родители были ровесниками. Они родились в 1900 году, а по правилам Арифметики цифра 100 завершает век, и новое столетие началось лишь в 1901 году. Поэтому отец и мама могли бы говорить о себе: «Мы родились в XIX веке».

Родители всю жизнь выглядели моложе своих лет. Это им прекрасно удавалось, благодаря их здоровью и красоте. Отец большую часть жизни смотрелся на 10–15 лет моложе своего возраста. В молодости это даже доставляло ему неудобства. Например, он стал профессором в 38 лет, а выглядел как молодой красивый 25-летний ассистент. Это было дополнительной причиной ревности и даже пренебрежительного отношения к нему со стороны его коллег-профессоров Свердловского мединститута, тем более что его, Фёдора Богданова, в мединститут никто не приглашал, — он сам подал документы на конкурс. И вообще, он появился в среде свердловских медиков благодаря своей жене, Ванде Яновне Тарковской, которую пригласил в Свердловск из Москвы на работу кто-то из хорошо знавших её по совместной работе в 20-е годы в Харькове.

Обдумывая приглашение поехать на работу в Свердловск, Ванда Яновна связалась со своим старшим коллегой по харьковскому институту профессором Василием Дмитриевичем Чаклиным. Узнала, что он тоже приглашен работать в Свердловск и возглавить там клинику, что облегчило её решение отправиться туда.

В Свердловске студентки толпами ходили на лекции молодого профессора Богданова, стояли вдоль стен в переполненной аудитории. Мне об этом писала моя двоюродная сестра, племянница отца, Ираида Каменская (урождённая Пятыгина), которая стала студенткой Свердловского мединститута в 1939 году. Очерк сестры о моём отце «Дядя Фёдор» опубликован в книге «Хирург Фёдор Богданов». СВ-96. Екатеринбург, 2000.

Мама не уступала отцу, она всегда была молода и красива. Даже в восемьдесят и девяносто лет её голос звучал в телефонной трубке как голос молодой женщины.

А теперь обо всём по порядку.

Отец

Мой отец, Фёдор Родионович Богданов, родился 3 октября 1900 года в семье сельского торговца. Я никогда не видел даже фотографий моего деда Родиона Ивановича. Говорят, он был небольшого роста и не обладал привлекательной внешностью. Фёдор был похож на свою маму. Прасковья Артемьевна (урождённая Потёмкина) была красива лицом, сухожава и стройна. Увы, она с детства была хромоножкой, припадала при ходьбе на одну ногу. Предполагаю, что это было результатом врождённого вывиха тазобедренного сустава. Не исключено, что это обстоятельство было одной из причин, по которой мой отец решил стать врачом и выбрал специальность хирурга-ортопеда. Фёдор был любимым третьим ребёнком в семье. Его старший брат, Пётр, помогал по работе отцу, сестра Татьяна — маме по хозяйству. Пётр и Татьяна не получили образования помимо начальной школы, да и Федю Родион Иванович хотел приспособить к работе в лавке, но Прасковья Артемьевна воспротивилась и настояла, чтобы отец послал Федю в гимназию. Учитель начальной школы сказал, что Федя очень способный мальчик, и ему надо дать полное среднее образование в гимназии или в реальном училище, а там видно будет.

Федя родился и жил с родителями в селе Елеонка, теперь это Новозыбковский район Брянской области, а гимназия была в городе Богучар. Федю отдали в город «на пансион». Поначалу это был пансион в доме у священника, где потом — не знаю. После окончания каждого учебного года Родион Иванович говорил Феде: «Хватит, подучился, и в лавке работать можешь»,



*Прасковья Артемьевна
Богданова, урожд.*

*Потёмкина, моя
бабушка. Фото 1946–
1947 годов. Свердловск.*

но Прасковья Артемьевна настаивала на продолжении учёбы, и аргументом было то, что Федя из года в год становился первым учеником в классе. Мой отец говорил мне, что вынужден был быть отличником, чтобы Родион Иванович не отозвал его из гимназии. Учиться Феде было интересно, и очень не хотелось прекращать. Необходимость и желание быть первым в делах стали у моего отца привычкой. Он сохранил эту привычку на всю жизнь, и она помогла ему сделать успешную и даже блестящую карьеру. Он и мне внушал: «Старайся быть лучшим. Если тебя некому протектировать, то без того, чтобы быть лучшим или среди лучших, ты ничего в жизни не добьёшься».

Фёдор Богданов окончил гимназию в 1918 году и получил аттестат зрелости «с отличием». В стране уже была советская власть, золотые медали, как



*Гимназист Федя Богданов.
1915 год.*



*Студент Фёдор Богданов.
1919–20 годы.*

и другие знаки отличия, были упразднены, но Фёдор справедливо называл себя «золотым медалистом».

В том же 1918 году Фёдор Богданов поступил на медицинский факультет Таврического (Крымского) университета в Симферополе. К сожалению, я не спрашивал у отца, почему он выбрал именно этот университет. Хотя аргументы в пользу такого выбора очевидны: жизнь на юге была легче, а университет был новым и по замыслу — прогрессивным. Этот университет был основан в 1918 году. То был год больших перемен. Новая советская власть ещё не устоялась. На юге, в Екатеринодаре (ныне Краснодар) возник центр Белого движения за восстановление монархии. Интеллигенция, профессора уезжали из голодных и холодных Петрограда и Москвы: кто за границу (если имели средства), а кто — на юг, в частности, в тёплый и относительно спокойный Крым. Там и был создан новый университет во главе с академиком Владимиром Ивановичем Вернадским. О создании его хлопотали ещё до революции. После Февральской и Октябрьской революций 1917 года замысел создания Таврического университета реализовался в ускоренном порядке¹. В Симферополь, в частности, переехал из Харькова известный анатом В. П. Воробьёв и другие профессора-медики.

К сожалению, я мало знаю о студенческой жизни отца в Симферополе. Мне известно лишь, что учиться на медицинском факультете отцу было интересно и легко. Любознательность, хорошая память, иными словами, способности к учёбе ему в этом помогали. Когда я задумался, почему я знаю так мало о студенчестве моего отца, то ответил себе сам: а много ли мои

¹ По условиям Брестского договора между Советской республикой и Германской империей, немецкие войска оккупировали Украину, отделившуюся от России.

взрослые сыновья знают о моей студенческой жизни? Конечно, препятствием для моей осведомлённости о молодости отца было то, что всю мою сознательную жизнь мы с отцом жили врозь и во время редких дней моих визитов к нему в дом и кратких периодов жизни вместе (последние 8–9 лет его жизни) времени на спокойные воспоминания о прошлом не хватало. Мы оба интенсивно работали и чаще говорили о текущих делах и будущем, чем о давно прошедшем. Но главное заключалось в том, что настоящего душевного контакта у меня с отцом не было. Здесь была и моя вина, но об этом позднее (см. «Урок сравнения» в конце книги).

Мирная студенческая жизнь отца в Симферополе продолжалась всего два года. Летом 1920 года начались бои Красной Армии за Крым, занятый Белой Армией во главе с генералом Врангелем. В ноябре 1920 года Красная Армия заняла весь Крым. Университет продолжал работать, хотя многие преподаватели покинули его и отплыли за границу. Отец в это время учился на 3-м курсе. Он снимал комнату в частной квартире, и к нему подселили какого-то политработника (комиссара) Красной Армии. Естественно, они беседовали о жизни и, как рассказывал отец, сосед его время от времени вскакивал со своей кровати и кричал: «А ну, становись к стенке!» ... Однако до расправы дело не дошло. Отца просто мобилизовали в Красную Армию, и он прослужил санинструктором не менее года, а может быть и больше. Гражданская война закончилась. Наступила массовая демобилизация. Медицинский факультет был закрыт, хотя университет продолжал существовать. Отец получил разрешение на перевод в Москву в Первый медицинский институт, организованный на базе бывшего медицинского факультета Московского Императорского университета. Он закончил 1-й Московский медицинский институт в 1925 году и получил хорошее назначение для работы в Москве. Это была должность врача при Комиссии ВЦИК по делам народов Севера¹. Комиссию возглавлял партийный работник (член ВКПб) с дореволюционным партийным стажем П. Г. Смидович. Работа в этой комиссии была, конечно, далека от настоящей медицинской практики, к чему стремился отец, но она стала выгодной в бытовом плане: отец получил продовольственный паёк и служебную жилплощадь — комнату в коммунальной квартире.

В мемориальном кабинете академика Н. И. Вавилова, в институте, где я работаю (Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова Российской академии наук), я нашёл несколько документов Комиссии по делам народов Севера конца 1920-х годов. Это были отчёты и протоколы заседаний. В протоколах среди участников заседаний систематически указывался врач Ф. Р. Богданов.

¹ В Большой советской энциклопедии (Т. 23. 1976) написано: «Комиссия содействия народностям северных окраин при ЦИК СССР».

Обязанностью врача Богданова была инспекция санитарно-эпидемиологической службы на Крайнем Севере среди национальных меньшинств. Моя двоюродная сестра, Ираида Пятыгина, которая была на тринадцать лет старше меня и много общалась в молодости с моим отцом — её родным дядей, говорила мне, что ему приходилось выезжать в какие-то северные районы страны¹. Она также написала однажды, что её дядя Федя был одно время «женат на тёте Лине, но детей у них не было».

Во второй половине 1920-х годов Москва оправилась от голода и холода периода Гражданской войны. Прошла и быстро закончилась Новая экономическая политика (НЭП), но жизнь вошла в относительно спокойное русло. Фёдор Богданов активно знакомился с московской культурой. Он был общительным и активным человеком, стал театралом и познакомился с артистами популярного в те годы Московского художественного театра (МХТ) и с молодёжью из семьи В. И. Немировича-Данченко (хотя думаю, что знакомство с сыном и невесткой Владимира Ивановича началось позже — в 30-е годы). Артисты МХТ обратили внимание на внешние данные Фёдора, на умение рассказывать, быть непринуждённым в обществе, и посоветовали подать на конкурс в школу-студию МХТ. Фёдор Богданов успешно сдал конкурсные экзамены и встал перед выбором: учиться в школе-студии и стать профессиональным актёром или остаться врачом. Совмещать учёбу в театральной студии с профессией врача было невозможно: в школе-студии было дневное обучение, «с отрывом от производства», но без средств к существованию, а в Комиссии ВЦИК — зарплата, паёк и служебная жилплощадь. Пришлось отказаться от поступления в студию. Фёдор Родионович направил усилия на профессиональный рост и решил заняться медицинской наукой. Он обратился в Государственный институт физиотерапии и ортопедии (ГИФО) с просьбой дать ему доступ к научной работе по совместительству и даже без оплаты. Он интересовался ортопедией (вспомним его хромающую маму). Такую возможность он получил в роли адъюнкта у профессора Тимофея Сергеевича Зацепина.

Зацепин поручил Фёдору Богданову важное и новаторское дело, до которого у него самого не доходили руки. Нужно было снять документаль-



*Фёдор Богданов.
1928–29 годы.*

¹ Хирург Фёдор Богданов. К столетию со дня рождения (ред. Э.К. Николаев). Екатеринбург. СВ-96. 2000. С. 63.



*Ванда Тарковская.
1929 год.*

ный кинофильм об отдалённых последствиях физиотерапевтического лечения покалеченных или больных конечностей пациентов. Работа требовала организационных способностей и времени. Нужно было снять на киноплёнку движение пациентов (хождение или владение руками) до лечения и через несколько месяцев или даже год и более после лечения. Фёдор Родионович справился с задачей. Я видел этот фильм: немой, но с титрами, снятый очень просто, без особой режиссуры, но действительно документирующий положительные результаты лечения. Выполненная работа потребовала от Фёдора Родионовича организованности, настойчивости и ответственности. Все эти качества характера он воспитал в себе ещё в гимназии и закрепил в студенческие годы.

Здесь, в ГИФО, на Петровке, в доме 25 Фёдор Богданов познакомился с молодым врачом, красавицей Вандой Тарковской, и это решило их судьбу на долгие годы. После кончины отца я узнал, что до этой встречи у него была гражданская жена, но знакомство с Вандой всё изменило.

Мама

Моя будущая мама, Ванда Яновна Тарковская, родилась 10 июля 1900 года в Екатеринославе (ныне Днепропетровск) в семье сталевара Яна Петровича Тарковского и Марии Оттоновны, урождённой Богуцкой, и была их единственным ребёнком.

Сохранилась копия свидетельства о рождении Марии Оттоновны, в котором сказано, что её родители, Оттон и Розалия, — из дворян. О происхождении Яна Петровича документов не сохранилось. Со слов мамы помню лишь, что он был младшим сыном в многодетной варшавской семье. Мама говорила мне, что его семья была тоже из дворян. В Польше тогда существовало много «шляхетских» фамилий.

Рода занятий моего прадеда Петра Тарковского я не знаю, но мне известно, что старшие братья и сёстры деда, Яна Петровича, получили образование и какое-то состояние, и были устроены благополучно. Ян Петрович родился примерно в 1864–1866 годах и провёл детские годы в Варшаве. После получения среднего образования он, не имея средств к существованию, вынужден был пойти в армию. В конце XIX века подданные Королевства Польского, входившего в Российскую империю, имели право служить в царской армии



*Ян Петрович Тарковский.
Фото 1920-х годов.*



*Мария Оттоновна Богуцкая
до замужества.
Фото 1890-х годов.*

вольноопределяющимися. Это давало им некоторые преимущества перед мобилизованными россиянами. Ян Петрович служил в Севастополе. После демобилизации он поехал на заработки на Украину, в город Каменское (в советское время — Днепродзержинск), на металлургический завод, который в середине XIX века был перевезен в Каменское из Варшавы вместе с основными его кадрами, поляками. Об этом написано, например, в воспоминаниях Л. И. Брежнева, который был секретарём Днепропетровского обкома КПСС во время послевоенного восстановления промышленности на Украине.

На металлургическом заводе Ян Петрович прошёл путь от ученика сталевара до обер-мастера мартеновских печей всего завода. В рабочей табели о рангах обер-мастер — самая высокая должность, требующая высокой квалификации и хорошо оплачиваемая на частных металлургических заводах того времени, «рабочая аристократия» (этот термин я усвоил из курса марксизма-ленинизма в университете). Обер-мастера Яна Петровича Тарковского владельцы металлургических заводов высоко ценили и время от времени приглашали с одного завода на другой: из Каменского в Екатеринслаг (Днепропетровск), в Юзовку и обратно. Один год он даже проработал в Варшаве. Ванда проучилась этот год в варшавской школе, причем в семи- или восьмилетнем возрасте, что пошло ей на пользу в отношении усвоения классического варшавского стиля польского языка. В доме, естественно, говорили по-польски. Ванда была единственным ребёнком своих родителей. Её мама (моя бабушка), Мария Оттоновна, родилась и провела



*Ванда Тарковская —
гимназистка, 13 лет.
Фото 1913 года.*

детство на Украине, поэтому варшавским наречием не владела. В её языке была примесь украинских слов.

Теперь немного о ней — моей бабушке, маминой маме. Мария Оттоновна родилась в 1868 году. Она была старшей из трёх дочерей дворянина (очевидно, безземельного шляхтича) Оттона Богуцкого, служившего управляющим в польском поместье. Я не знаю, где находилось это поместье. Какие-то рассказы бабушки о том, где именно оно было расположено, я, увы, забыл. Мария осталась сиротой, когда ей исполнилось 15 лет. Хозяева поместья хорошо относились к её покойному отцу и дали ей возможность остаться жить в поместье и работать кастеляншей. Благодаря этому она зарабатывала на жизнь и воспитывала младших сестёр.

Она научилась вести домашнее хозяйство «в хорошем доме», в том числе замечательно готовить. В итоге она оказалась идеальной женой и хозяйкой дома для вставшего на ноги молодого сталевара Яна Тарковского. Из моих воспоминаний раннего детства и из рассказов мамы я помню, что дед и бабушка очень любили друг друга. Но, пожалуй, не меньше они (по крайней мере, бабушка) любили свою единственную дочь Ванду. Этот вывод я сделал, сравнивая рассказы мамы и свои наблюдения.

Ванда росла девушкой с характером, и родители ей потакали. Ещё в детские годы она усвоила заповедь своего отца о том, что в XX веке женщина должна получить образование, иметь профессию, зарабатывать, быть самостоятельной и не зависеть от мужчин, от мужа. В те дореволюционные годы хорошим выбором для женщины была профессия врача. Перед мировой войной в России медицинское образование появилось на высших женских курсах, и Ванда решила стать врачом. Накануне мировой войны Тарковские жили в Екатеринославе (Днепропетровске), но Ванда заявила, что Екатеринослав — провинциален, и она хочет учиться в гимназии в Харькове. Родители пошли навстречу. Среди польской диаспоры в Харькове нашли семью врача Адама Цезаревича Мицкевича. Гимназистка Ванда поселилась у Мицкевичей и подружилась с хозяйкой дома, пани Ядвигой. Вскоре Ян Петрович получил предложение работать на металлургическом заводе в Харькове, и мамины родители переехали на время в Харьков, но потом снова вернулись в Екатеринослав.

В гимназии Ванда сидела за одной партой с Шурой Тарнопольской, рыженькой девочкой из еврейской семьи. Гордячка Ванда сначала отнес-



*Супруги Адам и Ядвига Мицкевичи и Ванда Тарковская.
Начало 1920-х годов.*

лась пренебрежительно к соседке, но затем, благодаря мягкому и весёлому характеру Шуры, они подружились и остались подругами на всю жизнь. Ванда закончила частную женскую гимназию Домбровской в 1918 году и поступила на Высшие женские курсы, превращённые в Женский медицинский институт. В 1920 году этот институт влился в Харьковский медицинский институт, который выделился из состава университета. Годы с 1918 по 1920-й были самыми трудными во всей стране, а жителям Харькова они достались особенно тяжело. Молодая советская власть сменилась в 1918 году на власть независимой Украины во главе с гетманом Скоропадским. Затем Украину, вплоть до лежащего на востоке Харькова, оккупировала немецкая армия. В ноябре 1918 года немцы покинули Украину. В Германии произошла революция, и она потерпела поражение в Мировой войне. После этого Харьков переходил из рук в руки: то советская власть, то белые, и только в 1920 году в городе окончательно утвердилась власть Советов.

Об этой поре жизни на юге России написано много. Дух времени передан в мемуарах, например, в опубликованных дневниках академика В. И. Вернадского, записках многих других свидетелей, наконец, в трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам». Мама говорила, что первые три года её институтской учёбы жизнь в Харькове была очень тяжёлой. Было голодно и холодно. Ей повезло, что она жила в доброй семье Мицкевичей, которые относились к ней как к дочери. Адам Цезаревич, будучи врачом, кое-что зарабатывал,

и только это их всех спасало. Мама говорила, что типичной едой в те годы была каша «шрапнель» из перловой крупы. Она неоднократно вспоминала, что чувство голода в ту пору было постоянным и угнетающим. Но учёба в мединституте как-то продолжалась. Мама ещё успела застать на первом курсе лекции знаменитого анатома профессора В. П. Воробьёва, в 1919 году он уехал в Крымский университет. Затем, после окончания Гражданской войны, он вернулся в Харьков и продолжил руководить кафедрой анатомии мединститута, издавал учебники анатомии и стал автором первого русского «Атласа анатомии человека».

Среди профессоров Харьковского мединститута был ортопед, немец Карл Францевич Вегнер. Его пригласили из Германии на Украину ещё до Мировой войны владельцы шахт Донбасса для организации лечения покалеченных шахтёров. Наиболее частой травмой у шахтёров был перелом позвоночника, а Вегнер являлся специалистом по лечению таких переломов. Помимо преподавания в Мединституте он возглавлял Медико-механический институт — ортопедическую клинику, созданную им для лечения переломов. На последних курсах учёбы в мединституте Ванда Тарковская стала специализироваться на кафедре и в клинике у профессора Вегнера, и после окончания института в 1923 году стала работать врачом в институте, который он организовал и возглавлял. К тому времени он стал называться Харьковским институтом ортопедии и травматологии.

В Институте было два отделения: мужское и женское. Их возглавляли, соответственно, ученики профессора Вегнера М. И. Ситенко и В. Д. Чаклин. Доктор Тарковская начала работу в отделении у Ситенко. В разговорах со мной она всегда с удовольствием вспоминала о тех годах работы под общим руководством профессора Вегнера.

Карл Францевич Вегнер был прекрасным воспитателем врачей. Он возглавлял школу активного лечения переломов. Вместо глухих гипсовых повязок, фиксировавших неподвижно концы кости в месте перелома, Вегнер использовал шины, к которым прочно крепились сломанные руки или ноги. Натяжение мышц компенсировалось грузами, подвешенными через блок. Шины имели закрепленные шарниры, с помощью которых руку или ногу можно было очень медленно сгибать или разгибать в зависимости от того, что было выгодно для правильного сопоставления сломанных концов кости.

Такой метод существенно увеличивал число правильно сросшихся переломов по сравнению с гипсовой повязкой, после наложения которой уже нельзя было изменить положение концов сломанной кости, даже если возникали ошибки или неточности при сопоставлении концов. После неточно сросшегося перелома конечность, как правило, укорачивалась, а иногда возникали неправильные повороты кисти или стопы, и это приводило к осложнению движений пациента или даже к инвалидности. Случилось так,



В Харьковском институте ортопедии и травматологии. В первом ряду, слева направо: М. И. Ситенко (?), К. Ф. Вегнер, В. Д. Чаклин; В. Я. Тарковская стоит. Весна 1926 года.

что я познакомился с применением этого метода под руководством любимой ученицы профессора Вегнера, доктора Ванды Яновны Тарковской, на моей собственной сломанной ноге. Это было в 1953 году, и я написал об этом в рассказе «Мой отец Фёдор Родионович Богданов», опубликованном в книге «Хирург Фёдор Богданов». Теперь методы лечения переломов рук и ног сильно усовершенствовались. В упомянутой книге рассказано о развитии этих методов лечения, которые в 1950-х годах создавал мой отец.

Когда-то, во второй половине 20-х годов, в Харькове покончила с собой дочь К. Ф. Вегнера. Скорее всего, это было в 1926 году. Причина поступка либо была неизвестна, либо Карл Францевич скрывал её. Мама не знала или не хотела рассказывать мне о причине (последнее — маловероятно). После этого Вегнер решил покинуть Харьков. Он переехал в Москву и, как я понимаю, начал работать в ГИФО, упомянутом в начале моего рассказа. Вслед за ним переехала в Москву его любимая ученица В. Я. Тарковская. Вегнер ценил её за энтузиазм, с которым она относилась к своей профессии, за стремление совершенствоваться, за умелые руки хирурга, аккуратность и дисциплину в работе, в общем, за комплекс качеств хорошего хирурга-ортопеда. Вегнер переехал в Москву в 1926 году, после того, как весной того года был сделан снимок в его харьковском кабинете. Мама переехала



*Фёдор Богданов и Ванда Тарковская в Москве,
в Малом Знаменском переулке. 1929 или 1930 год.*

в Москву в конце 1926 года. А ещё через какое-то время профессор Вегнер поехал в командировку в Берлин и решил оттуда не возвращаться. Его жена уехала в Германию раньше него.

Вегнер оставил ключи от своей квартиры доверенному человеку. Тот пришел к моей маме и на словах передал пожелание Карла Францевича, чтобы Ванда Яновна выбрала себе в его квартире те вещи, которые нужны ей для устройства её комнаты в коммунальной квартире в Москве, а остальное будет распродано. Мама оставила себе кое-что из мебели, сохранившейся у нас до сих пор, а кроме того письменный чернильный прибор с подсвечниками и бюст Луи Пастера, который всегда стоял на книжном шкафу в институтском кабинете профессора Вегнера (см. фото в его харьковском кабинете). Эти памятные вещи сопровождали её в течение всей долгой жизни, перешли по наследству ко мне и, надеюсь, будут храниться как реликвии моими сыновьями и внуками, теперь уже в память обо мне. Более 70 лет я занимаюсь за письменным столом, на котором стоит «мамин» письменный прибор.

В Москве мама получила комнату в коммунальной квартире в доме на углу Малого Знаменского переулка. Сейчас это дом 7 / 10, строение 2. Он стоит напротив маленькой церкви позади Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (известного в те годы по имени его создателя — профессора



*Ванда Тарковская и Фёдор Богданов
в 1929 или 1930 году.*

Цветаева, а до революции — под именем Музея изящных искусств имени Александра III). В 1990-е годы, с началом большого коммерческого строительства в центре Москвы (можно сказать, с возобновлением строительства после прекращения его в 1914 году из-за Мировой войны, и ещё раз, в 1941 году — из-за Великой отечественной войны) угловая часть дома, в котором жила мама, была снесена, и на её месте возведён дом-новодел. Коммунальная многокомнатная квартира, в одной из комнат которой жила моя мама с 1926 по 1931 год, была как раз в этой, ныне снесённой части дома. В эту квартиру к моей будущей маме переехал в 1930 году мой будущий отец Фёдор Родионович Богданов.

В середине 1980-х годов мама, живя в Москве, получила письмо из Харьковского института ортопедии и травматологии (точное название института не гарантирую). Этот институт — преемник Медико-механического института К. Ф. Вегнера — отмечал какую-то годовщину со дня его основания. По поручению директора Института (или уже ушедшего в отставку директора), академика АМН СССР Новаченко (которого мама в разговоре ласково называла Колей; он был её коллегой в 20-х годах), её просили написать воспоминания о работе в Харькове. При этом автор письма, заведующая

оргметодотделом института, писала, что в воспоминаниях Николая Островского (автора обязательного для изучения школьниками в советские годы романа «Как закалялась сталь»), есть сведения, что после ранения в позвоночник он, красноармеец Островский, лечился в хирургической клинике в Харькове, и лечащим врачом у него была молодая красивая полька. Это был именно тот институт, в котором работала мама, и ветераны института были уверены, что Островский имел в виду именно её — Ванду Тарковскую.

На это письмо мама отреагировала так: она, безусловно, с удовольствием коротко напишет о своей работе в те годы, ибо работа и коллеги по институту ей очень нравились, но что никакого Островского она помнить не может, ибо он тогда ещё не был писателем: «лежали молодые ребята с травмами, в том числе, наверное, и красноармейцы». Мама тщательно продумала текст и продиктовала его мне. Она тогда была практически слепой в результате глаукомы. Текст, вероятно, опубликован в каком-то издании в Харькове и, кроме того, воспроизведен полностью в книге «Хирург Фёдор Богданов»¹, изданной к 100-летию моего отца. Этот текст я решил поместить в Приложении (см.) к моим запискам. Он хорошо передаёт мамину речь, специфику работы молодого врача и атмосферу 20-х годов, а потому явно заслуживает внимания.

Моё раннее детство. Свердловск. Тридцатые годы

Мои детские воспоминания о Свердловске были светлыми и восторженными (каждый день — сотворение мира). Я гордился тем, что родился в просторном светлом городе, городе новом, несмотря на 200-летнюю историю Екатеринбурга (так назывался Свердловск до революции). Привлекательность Свердловска 30-х годов была не только в том, что он был построен по петербургскому плану: с прямыми длинными проспектами и квадратами кварталов, вписанными в рельеф местности, с красивым прудом в центре города на реке Исеть, но также и в том, что город сохранял много пространства для дальнейшего строительства и пополнился в эту пору, мне кажется, удачными постройками в стиле конструктивизма. Они не портили, а наоборот, освежали его.

Мои патриотические чувства усиливались по мере знакомства с «рудоискательской» историей Урала. Я с удовольствием слушал по радио рассказы писателей о старом Урале, об искателях руды и драгоценных камней, слушал,

¹ «Хирург Фёдор Богданов. К столетию со дня рождения» (ред. Э.К. Николаев) Екатеринбург. СВ-96. 2000.

а потом читал сказки Павла Бажова — «народного сказителя Урала».

Будучи романтически настроенным мальчишкой, я с гордостью помнил, что родился и рос в таком замечательном, счастливом и светлом городе. Конечно, эти представления пришли ко мне, когда я стал читать, смотреть кинохронику и ходить по городу самостоятельно, то есть после 6–7 лет. А про первый, бессознательный период моей жизни я помню, естественно, очень мало.

Уже в среднем школьном возрасте я слышал от мамы, что она уговаривала отца переехать из Москвы в Свердловск, не жалеть о театральной Москве, потому что там, на Урале, создаётся большая индустрия, а значит травм у рабочих будет много, будут нужны врачи, ортопеды-травматологи, придётся много работать и можно будет расти профессионально. Создаются клиники, нужны специалисты. При способностях отца он сможет и должен быстро стать профессором, а не сидеть в Москве в ассистентах и доцентах и ждать, когда освободится чьё-то место. Отец, конечно, думал о карьере, ведь он с детства привык быть первым, и долго уговаривать его не пришлось.

Итак, в 1930 или 1931 году родители переехали в Свердловск (мама пишет, что в 1930 году, но сохранились документы о том, что они оба зачислены на работу в 1931 г.). Они поселились в общежитии Свердловского медицинского института.

Когда я подросток, мама рассказала мне, что я был её третьим ребёнком. Первый погиб при родах, задохнулся в пуповине. Больше о нём никто никогда мне не говорил. 5 ноября 1932 года родился Витуська, Витольд. Маме нравились имя и отчество: Витольд Теодорович. Моего отца она звала Тодком, на польский манер. Витольд Теодорович Тарковский — было бы складно, Витольд Теодорович Богданов — нескладно. Витольд Фёдорович Богданов — тоже не совсем естественно. Но лучше было бы так. В семейном альбоме есть несколько фотографий 8-месячного Витуськи в кроватке.



*В. Я. Тарковская и Ф. Р. Богданов
у входа в Институт травматологии
и ортопедии. Свердловск. 1931 год.*



*Мой старший брат Витольд (Витуська) Богданов
(5.11.1932–10.07.1933).*

Он был красивым ребёнком. Мама, папа, бабушка говорили, что он был бы умным мальчишкой с хорошим характером. Характер ребенка в таком возрасте уже проявляется, как проявляется характер у маленьких щенят. Это не обидное сравнение, оно естественное, выработанное многовековыми наблюдениями многих родителей над своими младенцами.

Витуська умер в восьмимесячном возрасте от сильного воспаления лёгких. Пенициллина тогда не было, от сильных пневмоний спасать не умели. Витуськи не стало 10 июля 1933 года. В апреле 1934 года родился я. Я не сомневаюсь, что своим рождением обязан трагической кончине моего старшего брата. Мама и папа хотели иметь ребёнка, но растить двоих малышей в одной комнате общежития им было бы крайне трудно, и будь жив Витуська, я думаю, меня они просто не завели бы.

Я думаю, что мама вызвала бабушку для ухода за младенцем, когда родился Витуська, а может быть только к моему рождению? Но с моего рождения и до своей кончины в 1944 году, то есть в течение 10 лет, бабушка Мария Оттоновна (все называли её Марией Антоновной) была при мне. Мама была почти полностью освобождена от повседневного ухода за ребёнком. Дед Ян Петрович остался один в Кулебаках в Горьковской области (место его последней работы перед выходом на пенсию) с племянником Густавом. Но, по крайней мере, с моего рождения и до 1939 года, он дважды гостил у нас.

Родители увлечённо работали. После революции были отменены все учёные степени, но в 1935 году всем врачам и научным работникам, имевшим не менее трёх научных публикаций, были присвоены учёные степени



Мама, папа и я. Моя первая фотография. Начало 1935 года.



С бабушкой Марией Оттоновной. Начало 1936 года.

кандидатов наук без защиты диссертации. Докторские диссертации нужно было защищать. Отец рассказывал мне в 50-х годах, когда я стал студентом, что докторскую диссертацию он писал по ночам, лёжа под большим обеденным столом, под которым на полу ставилась настольная лампа, и стол завешивался сверху одеялами, чтобы не мешать спать Юрашке. Днём отец был занят в клинике, на занятиях со студентами, в библиотеке.

Отец рассказывал, что к нему под стол, под одеяло заползал тесть, мой дед Ян Петрович, и ворчал: «Вот видишь, Тодек, какая командирша Ванда, она всегда делала так, как ей хочется, всегда командовала над нами со старóй! (В те годы, говоря на русском, он называл бабушку по-польски: «старá» — с польским ударением на последнем слоге.) «Вот и над тобой командует. Где же это видано, чтобы из-за маленького мальчишки отец, мужчина, не мог нормально заниматься! Избалуют они его!». Дед предвидел, что мама с бабушкой избалуют меня, и оказался прав!

Первые годы я рос хилым ребёнком. Из-за этого, а может быть из-за печальной истории с Витуськой, меня кутали в одежки. Я вспоминаю, что когда меня выводили гулять, то пошевелиться в многочисленных одеждах, шарфе, а ещё и шали поверх шубки мне было крайне трудно, и радости от гуляния зимой я не ощущал. Морозы в Свердловске бывали порядочные, к тому же Свердловск — город довольно ветреный, и мне натирали щёки гусиным салом.

Я плохо помню общежитие, в котором провёл первые годы жизни. Нашей комнаты в общежитии (в которой под столом писал диссертацию отец)



В клинике кафедры травматологии и ортопедии Свердловского мединститута. 1935 год. Сидят: второй слева — канд. мед. наук Ф.Р. Богданов, третий — профессор В.Д. Чаклин, вторая справа — канд. мед. наук В.Я. Тарковская.



Коллектив клинического отделения в Свердловском институте травматологии и ортопедии. 1938 год. В среднем ряду слева направо сидят: Богопольский, В.Я. Тарковская, профессор Ф.Р. Богданов, Н.Ф. Кабакова и неизвестная.

я вообще не помню, но вспоминается широкий коридор с большими окнами по одной стороне, где мне изредка разрешали кататься на трехколёсном велосипеде. Вот это было подобием настоящей жизни! Не зря мне запомнился только этот коридор. Когда мне исполнилось четыре года, родители повезли меня летом в Сочи. Мы снимали какую-то комнату в одноэтажном доме недалеко от моря. Я надолго запомнил купание с отцом в море. Я боялся воды, кричал и брыкался, когда отец заходил со мной в воду. А волны прибоя вообще наводили на меня ужас. Но самым горьким воспоминанием от той поездки было то, что какой-то весёлый дядя, пришедший в гости к нам или к другим людям, снимавшим жильё в этом многокомнатном доме, безжалостно наступил на мою лучшую игрушку, которой я играл на крыльце. Это была совершенно изумительная по моим понятиям красная пожарная машинка с выдвижной лестницей. Я долго мечтал о ней. Наконец, родители подарили мне её на день рождения. Я привёз её в Сочи, играл ею на ступеньках дома, а этот дядька просто наступил на неё, расплющил до полной невозможности восстановления... и даже не заметил, не извинился. Теперь я догадываюсь: скорее всего, он был хорошо подвыпившим, иначе не заметить раздавленной железной машинки было нельзя. Не менее обидно было то, что родители даже не помнили, кто это мог быть. Наверно, от горя я не сразу пожаловался им. В доме сдавалось много комнат, и может быть этот дядька приходил не к моим родителям. Был сезон отпусков, а Сочи был модным местом отдыха в те годы.

В том же 1938 году в Свердловске мы переехали в новую квартиру. За год до этого, в 1937 году, отец защитил докторскую диссертацию, а в 1938 году был избран заведующим кафедрой общей хирургии в Мединституте; он также руководил отделением в Институте травматологии и ортопедии.

Дом, в который мы переехали из общежития, был одним из двух «домов специалистов». Он стоит и сейчас – это дом № 10 по Банковскому переулку, в самом центре города, но в относительно тихом месте. Банковским этот переулок, скорее всего, был назван ещё до революции, но в виду отсутствия в советские годы банков старого образца, название переулка воспринималось не так, как звучит слово «банк» сейчас, в XXI веке. Для меня это было какое-то странное, но «моё» название моего уникального места жительства, моей малой родины. Два жилых пятиэтажных дома светло-жёлтого цвета: № 8 и № 10 стояли, и стоят сейчас, вдоль Банковского переулка почти от Пассажа (или Центрального универмага, не помню, как он тогда назывался) и почти до угла улицы Малышева. На том торце двора, который ближе к универмагу, дворовый прямоугольник замыкали два здания: котельная и одноэтажное жилое здание-барак с коридорной системой, куда нам, детям, не советовали заходить. Котельная и этот барак ограничивали одну сторону нашего просторного прямоугольного двора, бывшего размером

не меньше футбольного поля. Прямоугольник располагался между Банковским переулком и улицей Вайнера (схема на рисунке). На стороне двора, которая была напротив домов №№ 8 и 10, стоял (и стоит до сих пор) другой, 5-этажный дом конструктивистского дизайна 30-х годов. Он огораживает двор со стороны улицы Вайнера. У этого дома сложная внутренняя планировка квартир, комнат, лестниц и переходов из одной части дома в другую.

Про Вайнера, имя которого носила параллельная Банковскому переулку улица, детям рассказывали, что он был большевиком, одним из первых большевистских руководителей города Екатеринбурга во время революции и после Гражданской войны. Но Вайнер не интересовал детское население двора. Посредине двора были обширный газон и большая клумба. На краю двора, у нашего подъезда стояла большая трансформаторная будка и сарай с досками и циркулярной пилой, возбуждавшей интерес мальчишек. Это были места для игр в прятки и в войну (но из сарая и от пилы нас прогоняли). Торцевую сторону двора, вблизи нашего подъезда, огораживали два многоэтажных жилых дома с проездом между ними. Сейчас эти дома сомкнулись на уровне верхних этажей, а вместо широкого проезда между ними ещё в 2000 году оставалась узкая подворотня, а потом и её застроили: торговая улица!

Важным было то, что в домах, окаймлявших огромный двор, жило довольно много детей, и можно было и товарищей найти, и врагов нажить, в общем — погрузиться в настоящую детскую жизнь. Моим товарищем стал Роберт (Роба) из соседнего подъезда. Его родители были, если я правильно помню, инженеры. Он был на год старше меня. Мы ходили в гости друг к другу. Это облегчалось тем, что в квартирах стояли телефоны, и можно было договориться и спросить разрешения у родителей. Игрушек у нас почти не было. Традиционным развлечением была игра в поездку на поезде, то есть в «вагоне» поезда. Для этого мы оба залезали под железную кровать, которая стояла в большой комнате трехкомнатной квартиры Робы. Под кроватью стоял чемодан, но по обе стороны от него оставалось пространство (точнее, два пространства) где, согнувшись калачиком, можно было лежать и воображать, что мы едем каждый в отдельном купе вагона. Мы переговаривались, фантазировали, называли какие-то известные названия станций, «останавливали» «поезд», дергали «стоп-кран» (это было самое страшное!). Приходил кондуктор, проверял билеты, штрафовал, ехали в противоположные направления, спорили, ссорились... В общем, это было интересно. Думаю, что основная фантазия принадлежала Роберту, так как у меня было меньше, чем у него, опыта езды по железной дороге, хотя поездку в Сочи я помнил.

Вообще, рассказ о новой квартире нужно было начать с важного для меня эпизода. Наша квартира №73 располагалась на втором этаже. В квартире

был балкон, и вот в первое лето жизни в этой квартире я вышел на балкон и гордо крикнул: «Ребята, а моя мама котиковую шубу купила!». Чёрная шуба из крашеного кролика была первой покупкой на папину профессорскую зарплату. Мама тут же втащила меня в комнату и очень строгим голосом сказала, что никогда никому нельзя говорить о том, что есть в доме, и что купили, даже лучшим друзьям, потому что воры услышат или узнают от болтунов, а потом ограбят квартиру, украдут и шубу, и другие любимые вещи... И вообще, чтобы я на всю жизнь запомнил, что обо всём, о чём говорят в доме, никому и никогда нельзя рассказывать, потому что милиционеры могут прийти и кого-нибудь арестовать или всех взрослых в доме арестовать, и я останусь один... Это было сказано так серьёзно и повелительно, как умела говорить моя мама. И я сразу и крепко поверил. Этот разговор получил вскоре подкрепление двумя моими наблюдениями.

Недалеко от нашего дома, сразу за площадью 1905 года, находился квартал, застроенный домами хорошего конструктивистского стиля. Дома были не очень высокие, этажа по четыре, и окружены деревьями и кустами. Построены они были зигзагами, в подъездах были стеклянные двери, а лестницы между этажами тоже имели большие окна: стекло от пола до потолка на каждой площадке. Лестницы располагались на углах «зигзагов», так что, спускаясь по лестнице, можно было видеть всё вокруг входной двери, это было необычно и парадно. В этом доме жила семья с фамилией Плинокосы. Глава семьи исполнял обязанности председателя Исполкома



*Дочь и жена Г.П. Плинокоса и я, Юра,
у них дома. 1937 год.*



*Мне три с половиной года.
1937 год.*

Свердловского облсовета (эти сведения я усвоил попозже). Родители были знакомы с этой семьёй. У Плинокосов была дочь, студентка. У неё был настоящий двухколёсный мужской велосипед, и она иногда катала меня, посадив перед собой на раму велосипеда. Это было наслаждением! Помню, что я с родителями как-то был в гостях у Плинокосов. Дело было в выходной день, в какой-то праздник, а я, естественно, ещё не учился в школе. Мне было тогда больше трёх лет. В доме у них было праздничное настроение, красивый стол, за которым мне тоже дали посидеть вместе со взрослыми. Это внесло большое разнообразие в мою жизнь, по сравнению с рутинными днями в нашей квартире с бабушкой, когда родители целыми днями находились на работе. Когда, как мне казалось, подошло время пойти к Плинокосам в гости в очередной раз, мама сказала, что они уехали. — «Куда? Надолго?» — «Насовсем». — «А Лена?» (именно Лена, если правильно помню её имя, катала меня на своём велосипеде) — «А Лена сейчас там не живёт, и мы не знаем, где она»...

А потом я подслушал в темноте из своей спальни тихий разговор родителей: «Ванда, сожги все эти письма и все фотографии, сейчас же, откладывать нельзя, за это могут арестовать». Сжечь бумаги в доме было несложно: плита на кухне топилась дровами. Это было в 1938 году. Сейчас, в XXI веке, уже известно о судьбе и.о. председателя Исполкома свердловского областного совета Григория Петровича Плинокоса. Он был арестован осенью 1937 года, обвинен в антисоветской деятельности, расстрелян и реабилитирован в 1955–56 годах. Я пишу об этом, как об обыкновенном для тех лет деле, но содрогаюсь каждый раз, когда вижу эту строчку... Я вернусь к этим событиям в Заключение.

В четыре, пять, шесть лет у меня была «абсолютная» память: я запоминал стихи с голоса, с первого прослушивания. К тому времени, когда, примерно в 5 лет, я научился читать, я уже знал наизусть детскую классику: Чуковского и Михалкова. Первой прочтённой самостоятельно прозаической книжкой была повесть о Чуке и Геке, затем пошли рассказы о Максимке, Каштанке, сказки Бажова и т.д. Потом я стал собирать марки. В 1934 году,

в год моего рождения, закончилась эпопея по спасению из льдов Арктики парохода «Челюскин». Появились первые Герои Советского Союза, лётчики, участвовавшие в этой эпопее. О них, о полётах Чкалова и других лётчиков через Северный полюс, о дрейфе Папанина и его товарищей я узнал, естественно, когда подрос, стал слушать радио и самостоятельно читать. Непонятным и загадочным было для меня, для чего женщины-лётчицы (из них с тех пор помню фамилии Гризодубовой и Расковой) залетели куда-то в тайгу, где-то около реки Амур их самолет совершил вынужденную посадку, и их там искали и спасли, потому что одна из них сломала ногу (и особенности этого перелома обсуждали родители). Появились почтовые марки, посвященные всем этим событиям, и собирать их стало «делом». Правда, больше всего меня привлекали марки географического содержания с видами колоритных мест Советского Союза. Эту детскую коллекцию я сохранил до рождения первого сына Андрея, да и сейчас мой самый первый альбом с наклеенными марками ещё существует у него. Затем пошли в ход солдатики. Зимы в Свердловске были длинные, гулять меня выпускали «дозированно», вот и спасали от безделья солдатики, марки, да ещё глобус и географические карты, с которыми я познакомился одновременно с началом самостоятельного чтения книг.

Папу и маму я видел мало, они работали до позднего вечера. Наверное, несколько позже, в 40-е годы, из разговоров родителей и их рассказов запомнил фамилии их коллег по мединституту и Институту травматологии и ортопедии. Перечисляю по алфавиту: Базилевская, Богопольский, Бутикова, Иоффе, Кушелевский, Лидский, Мухин, Ратнер.

Из эпизодов общения с отцом в те годы я запомнил лишь два события. Первым был банкет или торжественный обед в нашей новой квартире по поводу избрания отца заведующим кафедрой. Повод для банкета я точно запомнил, потому что это было первое столь большое собрание взрослых гостей в нашей квартире, и я специально спросил о причине у мамы. Вторым событием был поход на демонстрацию в день 1 Мая. Помню, что мы долго и бестолково стояли с толпой людей, знакомых с папой, на улице, носившей название «Улица имени 8 Марта», на рельсах, по которым в тот день трамваи не ходили. Стояли рядом с площадью 1905 года, которая и была целью всего похода. Стоять (бегать, ходить вокруг отца) надоело, тем более, что до дома было рукой подать, но я был послушным мальчиком и вытерпел до момента быстрого и суматошного прохода через площадь перед полупустой гранитной трибуной, которую я уже и без того знал. Потом помню, как усталый и капризный я возвращался в наш двор с другой стороны, по улице Вайнера. Мы просто сделали «крюк» вокруг площади и Центрального универмага. Я терпеливо и молча удивлялся бестолковости этой утомительной прогулки. Правда, на флаги, плакаты и оркестры насмотрелся и шуму наслушался.



*С отцом на демонстрации на ул. имени 8 Марта. В первом ряду
второй справа, по-моему, проф. Кушелевский... или Ратнер?
Знакомое лицо. 1938 или 1939 год.*

Самым занятным для меня на этой демонстрации было слушать и разглядывать духовые оркестры, которыми тогда обычно сопровождались разные собрания и шествия. Время от времени в окрестностях нашего большого двора раздавались звуки похоронной музыки и медленно в сторону кладбища, довольно далёкого от нас, проходила пешая похоронная процессия. Такова была традиция тех лет. Два-три раза это было интересно, а потом надоело.

О бабушке и дедушке — маминых родителей

Летом 1939 года приехал дедушка Ян Петрович. Располагались мы в нашей трёхкомнатной квартире так: папа с мамой — в кабинете. Там была самодельная тахта, покрытая ковром, на которой они спали: пружинный матрас на самодельных ножках. Вторая комната была больше кабинета и называлась столовой. Понятие «гостиная» я услышал, только когда стал взрослым. Я имел свою детскую комнату. Это была третья комната квартиры, небольшая, но приятная. Она была квадратной, и вход в нее вёл из столовой. Кухня была обширная, с большой дровяной плитой, с полом из широких досок, а за плитой была комнатёнка без двери. Бабушка спала в этой каморке за кухней. В каморке еле помещалась бабушкина кровать с панцирной сеткой и какой-то шкаф в ногах кровати. Где разместили дедушку, когда он приехал, не помню, во всяком случае, в большой столовой



Мамины родители, Ян Петрович и Мария Оттоновна Тарковские.

Фото 1930-х годов.

комнате было много места и диван, и в доме была раскладушка: две пары довольно массивных деревянных ног, которые складывались крестом, а когда раскладывались, то между ними натягивалась толстая парусина — «ложе». Люди моего поколения или лет на 10–15 младше помнят такие «раскладушки», предшественницы дюралевых раскладушек, появившихся в период «модернизации народного хозяйства» — в 50-е годы. Так вот, где и на чём поместили спать деда, точно не помню, а это была проблема: дедушка был полным, грузным и ходил с трудом. По-моему, дед не смог спать ни на узком диване, ни на раскладушке, и ему каждый вечер стелили матрас на полу в кухне (!).

У меня осталось твёрдое ощущение, что дедушка был недоволен тем, как устроена наша жизнь. А однажды он это выразил прямо. Помню, что я сидел посреди кухни на деревянной табуретке, бабушка стояла передо мной и натягивала на меня штаны поверх уже имевшихся, чтобы отправить меня гулять, а я капризничал, протестовал и брыкался. Дед, Ян Петрович, сидел на бабушкиной кровати лицом к нам, наблюдал эту сцену и сказал в сердцах: «Эх, старá, старá, до чего ты дожила!». Это относилось, конечно, и ко мне, и к маме, которая устанавливала порядки в доме и руководила моим воспитанием. Я сам запомнил эти слова деда, никто мне о них потом не говорил, как это бывает часто с «воспоминаниями» о детстве, усвоенными со слов родителей. Так же самостоятельно, без родительских подсказок я запомнил свой позорный плач под ёлкой из-за подарка (см. ниже), хотя мне тогда ещё не исполнилось и шести лет. Может быть, осознание этих

запомнившихся обстоятельств позора помогли мне в годы отрочества больше не капризничать?..

Летом того же года (это был, мне кажется, 1939 год) мама положила дедушку для обследования и укрепления здоровья в клинику мединститута и однажды пришла домой с известием, что дедушка скоропостижно скончался. Я помню, что это было в жаркую погоду.

В Свердловске летом на улице бывает +30 °С и выше. Мама сказала, что сосед по палате угостил Яна Петровича огурцом; огурец, кажется, был подпорченный (или невымытый?); у деда развился бурный понос, началось обезвоживание, и спасти его не сумели. Похоронили дедушку на том же кладбище, что и Витуську. Для мамы кончина дедушки была сильным ударом. Она хотя и перечила ему всю жизнь, но он был самым старшим, опытным и умным в её семье, последней защитой перед надвигавшимся на неё испытаниями, когда маме стало необходимым заботиться о постаревшей бабушке и обо мне. Это стало ясным на следующий год.

В то лето 1939 года и в следующее лето, в 1940 году, мама отправляла нас с бабушкой на дачу, на озеро Шарташ. Тогда это был ближний к городу дачный посёлок в лесу, на берегу озера. Сейчас это уже район города Екатеринбурга. Каждый выходной день мама и, наверное, папа, приезжали к нам. Трамвай подходил к лесу не очень далеко от дач (потом я оценил расстояние своими шагами). Нужно было только пройти километр или чуть больше через рощу. Родители привозили продукты, вещи... В общем, шла обычная дачная жизнь. Но два лета подряд она прерывалась тем, что я заболел малярией. Среди лета меня возвращали в город, и я тяжело болел. На всю жизнь запомнились мне изнуряющие приступы малярии с высокой температурой и бредом, которые повторялись через три-четыре дня, когда, казалось, я уже начинал выздоравливать. Почему-то не сразу мне стали давать хинин. В конце концов, он помог.

Воспоминания и размышления о моем воспитании

Бабушка говорила со мной по-польски, я отвечал ей по-русски. Мама говорила со мной гораздо больше по-русски, чем по-польски. Но любила иногда специально обращать внимание на отдельные польские слова или выражения, поговорки, которые казались ей удачными и часто действительно такими бывали. Например, «Пан с крулевской пщярни» («Пан с королевской псарни») — про какого-нибудь с претензией одетого простака или: «Нэ пепши лепше пепшем, бо пшепепшишь!» — польская игра слов на произношение («Не перчи лучше перцем, а то переперчишь!»).

Мама говорила мне, что поскольку у меня русский отец, и я родился и живу в России, то я должен быть настоящим русским. Я это интерпрети-

ровал так, что даже говорить по-польски мне не нужно, польского алфавита я не обязан знать и читать по-польски тоже не надо (эти выводы я сделал сам). В смысле воспитания у меня чувства русской родины это было хорошо, но думаю, что умение активно пользоваться польским языком мне не только не повредило бы, но могло бы во взрослой жизни пригодиться. Но я не пытался говорить по-польски, наверное, потому, что был нелюбопытен и ленив. Более того, были случаи, которые активно отталкивали меня от польского языка. Например, в окружении посторонних людей (в трамвае или даже в помещении среди знакомых людей) мама, разговаривая со мной по-русски, вдруг переходила на польский язык, если хотела сделать мне какое-то замечание (а замечания она делать любила). Это происходило часто, что злило меня, ибо, как я считал, делало меня каким-то особенным среди окружающих, и я смущался. При моём замкнутом характере это начинало воспитывать во мне комплексы. Одним из комплексов стало нежелание говорить по-польски.

Комплекс замкнутости и неумения общаться со сверстниками постепенно развивался всё больше. Потакание моим капризам дома, отсутствие достаточного общения со сверстниками и предупреждения, что милиционеров и дворников надо бояться, делали меня робким мальчишкой. Я потом от этого страдал. Робость усиливалась под влиянием властного характера мамы. У неё всё нужно было спрашивать: что можно, а что нельзя. Уверен, что отсутствие мужского воспитания и живых примеров, как можно постоять за себя, воспитывало во мне излишнюю покладистость и робость. «Воевал» я только с бабушкой, а уж маме перечить или что-то доказывать боялся долго, примерно до средних классов школы.

Самым моим безобразным поступком в детстве я считаю сцену, которую непроизвольно разыграл на новогоднем празднике, устроенном у нас в доме 1 января 1940 года. Мне тогда уже шел шестой год. В столовой была поставлена большая, до потолка, ёлка. Она была богато украшена новыми игрушками, в покупке которых я принимал участие, так же, как и в украшении ёлки. На детский праздник днём 1 января к нам было приглашено несколько детей из нашего дома, человека четыре. С моим участием в центральном универмаге покупались какие-то игрушки, которые должны были лежать под ёлкой и стать подарками для гостей. Они были явно неравноценные. Одна из игрушек при покупке была выбрана в магазине по моей просьбе. Она казалась мне очень ценной (кажется, это был резиновый надувной крокодил длиной примерно полметра) и я был уверен, что крокодил был куплен именно мне. Но когда начался розыгрыш подарков, эта игрушка разыгрывалась первой и досталась не мне. Я разревелся, не мог остановить плач, понимал, что это неприлично, но ничего с собой поделать не мог. До сих пор помню этот мой позор. Теперь понимаю, что он был неслучайным.



*Заплаканный баловень под ёлкой.
1 января 1940 года.*

В этом происшествии сфокусировались как недостатки моего характера, так и ошибки воспитания со стороны родителей, элементарные ошибки в организации розыгрыша подарков. Нельзя было делать подарки неравноценными, а если этот подарок был куплен для меня, то не надо было класть его на общий розыгрыш. Но кроме того сказала моя домашняя избалованность и упущение родителей: не научили «держат» удар судьбы.

Финская война. Эвакогоспиталь № 1705

Зимой, накануне Нового 1940-го года, началась война с Финляндией. Я слушал рассуждения взрослых и не понимал, кто на кого напал первым. В результате, в доме № 7 по Банковскому переулку был организован эвакогоспиталь для раненных и обмороженных командиров Красной Армии, которых почему-то везли так далеко от фронта, проходившего



*Владимир Михайлович Оплетин,
начальник эвакогоспиталя
№ 1705 в 1940 году. Фотография
1948 года.*



*Ванда Яновна Тарковская.
Начальник отделения
в эвакогоспитале № 1705.
Фотография 1940 или 1941 года.*

севернее Ленинграда. Папу и маму одели в военную форму, и они стали называться военврачами. У папы на петлицах были три красные «шпалы», и он назывался военврачом 2-го ранга, у мамы — две шпалы: военврач 3-го ранга. Всё в обратном порядке, ибо счет рангов шел сверху вниз: от четырех «шпал» — военврача первого ранга — до одной шпалы — кажется, капитана медицинской службы. Мама начала работать в госпитале напротив дома. Это было удобно: близко ходить на работу и нетрудно возвращаться домой, если шли поздние или даже ночные операции. Госпиталь носил номер 1705. Мама заведовала там одним из трёх отделений. Начальник госпиталя Михаил Владимирович Оплетин (тоже военврач, но ранга не помню) жил тоже в нашем доме. Это был толстый дядя выше среднего роста, с круглым добродушным лицом и внимательными глазами под большими, несколько сонными веками, но, как говорила мама, строгий. Однако главным его достоинством, опять же со слов мамы, было то, что он был умным человеком и хорошим руководителем, «болеющим» за своё дело. Забегая вперед, скажу, что позже, в 1941–1945 годах, он провёл на фронте всю Великую Отечественную войну в должности руководителя санитарно-медицинской службы целой армии, а может быть и фронта, а после войны был назначен директором курорта в Пятигорске.

У меня появилось занятие — ходить в госпиталь. Сначала мама провела для меня экскурсию, а потом я сам, без спроса стал ходить туда. Способов

проникнуть в госпиталь было два. Лучше всего было пройти через парадный вход со словами «Меня мама вызвала». То, что я сын Ванды Яновны Тарковской, уважаемого зав. отделением, дежурные на входе и остальной персонал быстро усвоили. Но часто мама была занята, и к ней могли не пустить. И тогда был неофициальный способ. Нужно было войти в хозяйственный, угольный двор (котельная госпиталя топилась каменным углём), пройти в здание через «чёрный» вход, а затем сразу по чёрной лестнице наверх, если вход на неё не был закрыт, или через «санпропускник» — мойку для поступавших раненых, далее в коридор и по другой лестнице — в мамин кабинетик наверху. Раненых привозили не каждый день, а партиями, эшелонами, и иногда санпропускник пустовал. Там бывало мрачно и сыро, но, преодолев это неуютное помещение, можно было «прорваться» наверх. А главная, парадная лестница была покрыта ковровой дорожкой, украшена пальмами и фикусами в больших ящиках, и можно было деловито походить по ней вверх-вниз, скатиться по перилам, когда заведомо не было опасности, что кто-то из медперсонала меня застигнет. Лестница была на углу, на изгибе госпитального здания, имевшего форму буквы Г, она выходила огромными окнами на Банковский переулок, как раз с видом на наш дом.

В конференц-зале госпиталя, помнится, два раза в неделю показывали кино для раненых. Туда меня и ещё нескольких детей моего возраста, чьи мамы работали в госпитале, пускали довольно легко. Самостоятельно ходить в палаты к раненым я стеснялся, боялся, да и не звали особо. Ещё было важно не попадаться на глаза начальнику госпиталя Владимиру Михайловичу Оплетину, который не одобрял присутствие детей в госпитале. Не попасть ему на глаза было «спортивным» занятием!

О финских снайперах, «кукушках», прятавшихся на деревьях и успешно уничтожавших бойцов Красной Армии, тогда было много разговоров. И вот я придумал занятие, которым, правда, занялся уже осенью 1940 года (война с финнами кончилась, а госпиталь продолжал работать, ибо некоторых пациентов со сложными ранениями нужно было долечивать по много месяцев). Занятие было простым: я играл в снайпера-«кукушку». На газоне вдоль тротуара, который шел к входу в госпиталь, росло два ряда невысоких деревьев. Я забирался на одно из них. Кроны у деревьев были густые. Даже несмотря на сильно облетевшую осенью листву, меня не было видно. Я сидел там с воображаемой винтовкой. Забирался на дерево я после того, как сотрудники прошли на работу, но всё же люди мимо меня ходили, а я считал, сколько человек проходило под деревом, и все они не замечали меня. Это было удивительным: либо я хорошо маскировался и ловко затаивался, что вообще мальчишки умеют делать, либо всем прохожим было лень голову поднять и посмотреть на деревья, мимо которых они проходили.

Мама из-за занятости перестала следить за моими прогулками. Мне тогда уже было шесть лет, и я наладился уходить на улицу в разное время утром и вечером, иногда, например, до массового ухода медперсонала с работы, и тогда поток идущих мимо меня (в основном женщин), был порядочным.

В ту же осень 1940 года приходившая в дом учительница начала учить меня музыке на домашнем пианино.

Мы остаёмся без папы

Я уже перешёл к описанию осени 1940 года, но летом того года случилось крупное событие. Папа ушёл из дома, то есть перестал жить с нами. Мама сказала, что это она распорядилась, чтобы он ушёл. Она сказала, что он стал часто изменять ей с другими, и она, как женщина гордая, не может терпеть этого. Она подчёркивала, что «польская гордость ей этого не позволяет». Потом она объяснила мне, что не стала с папой судиться и требовать, чтобы он постоянно выплачивал деньги из зарплаты «на моё содержание». Позже я узнал, что такие деньги назывались странным словом «алименты»¹. Папа просил её не делать этого, ибо это плохо сказалось бы на его репутации и могло повредить ему, сказал, что он будет сам периодически давать деньги. Мама жаловалась, что он выдавал эти деньги сначала очень редко, потом нерегулярно и меньше, чем должен был бы давать по закону. Но его просьбу — не судиться — выполняла.

Папа переехал в дом певицы Театра оперы и балета им Луначарского, Наталии Ивановны Киселевской, жившей за этим театром, на другом конце улицы Ленина. Муж Наталии Ивановны, Григорий Иванович Иванов, директор Городского дома пионеров, был арестован в 1937 году, за три года до событий, о которых я рассказываю. У них был сын Толя, родившийся в 1936 году, за год до ареста Григория Ивановича. Толя не помнил своего настоящего отца и стал называть моего отца папой. Он был на два года младше меня.

Через некоторое время отец познакомил меня со своей новой семьёй. Мама сказала, что она не хочет лишать меня возможности общаться с ним, хотя считала моего папу плохим отцом. Она прямо говорила, что именно материальные соображения и обещание не судиться с отцом из-за денег вынуждают её разрешать ему общаться со мной, и он должен помогать ей воспитывать меня. Даже тогда, шестилетним ребёнком, я ощущал (не столько понимал сознательно, сколько чувствовал), что всё это как-то нечестно, несправедливо и приучает меня к неискренности, к фальши. Как известно, дети отчётливо ощущают фальшь, в глубине души осознают её. От-

¹ От *alimentum* (лат.) — содержание, иждивение.

личают естественное поведение от фальшивого, но чаще всего не высказываются об этом. Как правило, такие дети протестуют против фальши «по-детски»: капризничают, не слушают мам и бабушек (если, например, отец ушёл из семьи). Этот неосознанный протест продолжается до тех пор, пока такой ребёнок сам не привыкнет к фальши под влиянием поведения взрослых.

По наблюдениям на протяжении моей долгой жизни, к житейской фальши привыкает большая часть детей. Но всё же встречаются дети «с характером», которые не мирятся с неискренностью взрослых. Забегая на 40 лет вперёд, могу сказать, что ребёнком с твёрдым характером, не любящим фальши и не желающим вести себя фальшиво, оказалась моя внучка Аня Богданова, ныне Анна Андреевна, носящая красивую фамилию Поддубная. Я восхищался ею, когда она была маленькой, и продолжаю восхищаться сейчас, когда она стала замужней женщиной и мамой троих детей.

Отступление, сделанное выше, должно помочь читателю понять, что изменение семейной ситуации и нескрываяемо отрицательное отношение мамы к моему отцу, (при том, что одновременно она настаивала, что я должен

сохранять хорошие отношения с ним), неблагоприятно сказывались на моём мягком характере. Я стал «уживчивым», но замкнутым и неискренним, скрытным.

Я уже обмолвился выше, что мне не хватало мужского воспитания, в частности примеров, как можно по-мужски (а не путём капризов) постоять за себя. А ведь мой отец в разных ситуациях умел постоять за себя, но те годы, когда этому можно было у него научиться, были мною упущены. Позже я понял, что отец мало, по сравнению с мамой и бабушкой, общался со мной, пока жил с нами, или не сумел противостоять властной манере воспитания со стороны моей мамы. Я пишу всё это специально, в надежде, что мои внуки и правнучки обратят внимание на эти размышления, и, может быть, это поможет им сделать самым полезным выводы.



На детском празднике в день рождения Светланы, жившей в нашем подъезде. Её родители развлекались, инсценируя эту композицию. Я понимал этот трюк, но мне нравилось. Тогда я ещё был бескомплексным мальчишкой.

Я помню, что через какое-то время после ухода отца из нашей семьи, он повёл меня на спектакль в оперный театр. Это была опера «Царь в Саардаме». В дальнейшем я никогда не слышал этого названия. Поход произвёл на меня очень большое впечатление. Во-первых, это были первое театральное здание и первый театральный зал, в которые я попал в своей жизни. Здание было построено в Екатеринбурге в 1912 году (это я узнал позднее) и построено в традициях стиля модерн начала XX века. Оно остаётся красивым и сейчас. Я впервые увидел ярусы балконов, ложи, а главное — оркестровую яму, где действительно творились чудеса. Сверху сцену освещали цветные прожекторы. Декорации изображали то борта парусных кораблей, стоявших у причала, то дома заграничной постройки. Артисты в костюмах петровской эпохи иногда пели, но чаще просто говорили на сцене. Содержание было понятным, да и папа объяснил мне его заранее, прочёл по программке: русский царь Пётр под видом плотника приехал в голландский город Саардам (сейчас Заандам, и там, кстати, есть музей Петра I) и обучался там мастерству строительства кораблей. Именно после этого посещения тетра я и был познакомлен с новой семьёй отца. Папа ни в коем случае не хотел терять меня. Он старался приблизить меня к себе, пытался, на свой манер, вовлечь меня в круг своих знакомых — живых, общительных людей. Но это приводило к обратной реакции с моей стороны. Не умея ещё общаться с оживлённо ведущими себя людьми, я замыкался в себе и ревновал отца ко всем этим людям: он уделял им внимание, и у него не оставалось времени поговорить со мной, рассказать мне что-нибудь и подтолкнуть меня к какому-нибудь рассказу с моей стороны. Я хотел поговорить с ним, но tet-a-tet.

В нашем доме стиль был не таким, как в окружении отца, а тихим, сдержанным и скучноватым. Если бы не моё умение, а потом и привычка играть или заниматься чем-то в одиночку, то мне было бы скучно жить в нашем доме, но я привык занимать себя сам. Читал, изучал географические карты, фантазировал, играл сам с собой в солдатики. Кабинет и письменный стол родителей с большим письменным прибором из светло-зелёного оникса, окантованного великолепной бронзой, — оказались в моём распоряжении. Этот прибор и сейчас стоит на письменном столе в моем домашнем кабинете и напоминает мне о детских годах.

Война с Финляндией закончилась весной 1940 года, но, как я уже сказал, ещё целый год госпиталь продолжал работать. Помимо тяжелораненых, в госпитале было довольно много молодых парней, залечивших раны до такой степени, что и в армию можно было возвращаться и спортом заниматься. И вот, в солнечный зимний выходной день в начале 1941 года был организован лыжно-спортивный праздник, где-то на лесной поляне за городом. Меня взяли на этот праздник. Там я узнал, что на соревнованиях существуют «Старт» и «Финиш», и это — самые главные места для лыжников. Работал



*Утренняя зарядка выздоравливающих раненых эвакогоспиталя № 1705.
Свердловск. 1940 год. Справа — здание госпиталя, на заднем плане — дом № 8
по Банковскому переулку, а ещё глубже и левее — дом, выходящий на улицу Вайнера.*

какой-то громкоговоритель, было много интересной суеты, и состоялись серьёзные соревнования с победителями и призами.

В апреле 1941 года эвакогоспиталь № 1705 был, наконец, закрыт. Маму демобилизовали и отправили в отпуск. Она получила путёвку в санаторий «Архангельское» под Москвой.

Санаторий принадлежал Народному комиссариату обороны. Этот отдых мама в высшей степени заслужила и с удовольствием провела четыре недели в санатории. Она оказалась там за столом с супругами Дмитриевыми — полковником-артиллеристом Алексеем Павловичем Дмитриевым и его женой Ирмой, латышкой по происхождению. Мама подружилась с ними.

Через какое-то время и я познакомился с Дмитриевыми в Москве. Алексей Павлович был небольшого роста, плотно сбитый, с приятным открытым лицом. Он был удивительно воспитанным и доброжелательным человеком, и по-мужски мудрым. Он служил военным представителем на оборонных заводах по артиллерийскому вооружению и только что вернулся с женой из длительной командировки в Чехословакию. Моей маме он подарил буклетик фотографий Праги 1930-х годов. Я очень любил разглядывать эти фотографии. Буклетик до сих пор хранится у меня и уже является букинстической редкостью. Позже я узнал, что Красная Армия вооружалась, в том числе, чешскими пушками (гаубицами). Кстати, тогда, весной 1941 года Чехия



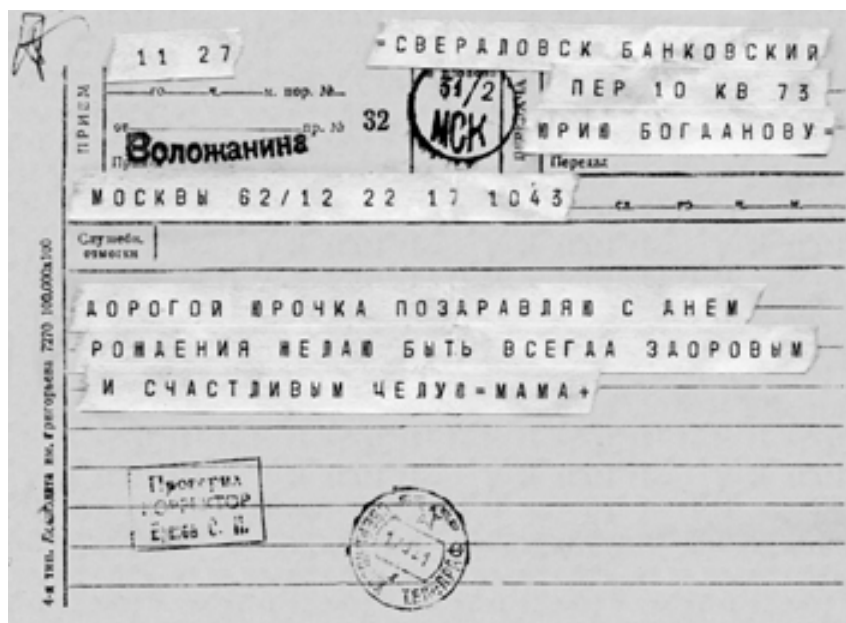
*Военврачи и военный персонал эвакогоспиталя № 1705. Свердловск. 1940 год.
В среднем ряду, четвертая слева — В. Я. Тарковская, седьмой — В. М. Оплетин —
начальник госпиталя. Внизу, вторая справа — Н. Ф. Кабакова.*

уже давно была оккупирована Германией, а Словакия считалась независимой. Ирма Дмитриева была, как я сформулировал позже, типичной офицерской женой, женщиной без особых интересов, довольно яркой, но манерной. У них были две дочери старше меня по возрасту. Я их видел редко. К этому семейству и их роли в нашей жизни я вернусь позже.

После четырёх недель, проведенных в санатории «Архангельское» в апреле — мае 1941 года, мама вернулась в Свердловск отдохнувшей и жизнерадостной. А на мой день рождения в апреле 1941 года мама прислала мне из «Архангельского», из Москвы поздравительную телеграмму, которую я привожу здесь. Такие телеграфные бланки из грубой тёмной бумаги (от времени она стала коричневой) с наклеенным текстом теперь — музейные предметы.

Москва, 1941 год

Пробыв в мае 1941 года недолго в Свердловске, мама собрала свои чемоданы, взяла меня, шестилетнего мальчишку, и поехала со мной в Москву. Бабушка осталась в Свердловске одна, «сторожить квартиру». В Москве мама поступила на работу в тот же ГИФО, — институт, из которого уволилась и уехала в Свердловск в 1931 году, ровно 10 лет тому назад. Она



Поздравительная телеграмма от мамы из Москвы в Свердловск с нашим свердловским адресом и штампом цензуры, полученная в день моего рождения.

радовалась, что многие врачи и медицинские сёстры, какие-то техники и другие специалисты, работавшие в этом институте, помнили её по работе в 1926–1931 годах.

Мы с мамой временно поселились в квартире у её гимназической подруги Шуры Тарнопольской. О ней я писал в начале этой книги. Тётя Шура жила на втором этаже старого двухэтажного дома во дворе дома №9 на улице Маросейке. Дом, выходящий на Маросейку, кажется, стоит и сейчас, спустя 70 с лишним лет, а что делается во дворе, не знаю, не заглядывал.

Прежде всего, мама (или тётя Шура, пока мама работала) познакомили меня с Москвой. С тех пор у меня в Москве осталось несколько любимых мест: вид с метромоста (того, что между станциями метро «Смоленская» и «Киевская») на Москву-реку и Бородинский мост, станции метро «Киевская» (ныне Филёвской линии), «Парк культуры», и не столько понравившаяся, сколько удивившая меня двухъярусная станция «Комсомольская». Архитектуру других станций метрополитена я изучил позже, через 3–4 года и тогда у меня появились новые станции-любимцы (конечно — «Маяковская»).

Настало настоящее тёплое лето 1941 года, и мама сняла комнату в дачном посёлке Баковка по Белорусской железной дороге. На дачу она приезжала только на выходные, а остальные дни недели я был там под присмотром какой-то хозяйки, которая, очевидно, меня и кормила. Все дни я проводил, естественно, на улице. Посёлок стоял в лесу, за чертой посёлка был лес

из огромных сосен и елей, и с кустами, где можно было бегать и прятаться. Появились какие-то товарищи. В общем, всё пошло хорошо.

Я ещё не успел изучить всего, что меня окружало в Баковке, как в воскресенье по радио и от соседей к соседям разнеслось сообщение: началась война! Немцы бомбят наши города, героические пограничники отражают атаки врага...

Это было то самое 22 июня 1941 года, которое вошло в историю страны как рубеж, как конец одной жизни и начало новой эпохи в сознании всех, кто был достаточно взрослым к тому времени. Сознание семилетнего мальчишки, уже соприкасавшегося с последствиями Финской войны, с видом раненных людей, их рассказами, было вполне достаточным для понимания произошедшего. Мама решила немедленно уезжать обратно в Свердловск. «Москву скоро начнут бомбить», — сказала она. Это она узнала по разговорам с тем же Алексеем Павловичем Дмитриевым, который, будучи хорошо информированным офицером, был в курсе стратегической ситуации. Мама сказала, во-первых, что бомбёжки — это страшно: вдруг сверху падает бомба, взрывается, и все убиты или ранены. Во-вторых, в Свердловске бабушка осталась одна, и в-третьих, мама, как врач, во время войны хочет работать в том же самом эвакогоспитале, в Свердловске, который неизбежно откроют снова. Она, хотя и демобилизовалась, т. е. ушла «в запас», но оставалась военнообязанной.

Успеть на последний вечерний пригородный поезд в Москву 22 июня мы уже почему-то не могли, и я помню, что мама, собрав все наши небольшие вещи, вышла со мной в темноте на местную дорогу, выведившую на Можайское шоссе, и стала ждать попутной машины в Москву. Мы стояли в полной темноте среди стволов высоких сосен, в полном безмолвии. Помню об ощущении тревожности и неизвестном мне ранее чувстве, что если сейчас мне и маме повезет и подойдёт какая-нибудь машина, то все будет хорошо, ну как всегда, а если нет, то может случиться что-то непоправимое, и жизнь станет другой, наверное, страшной. Могли бы не дожидаться, но, наконец, увидели свет фар шедшей издали машины, и она остановилась около нас. Помню и о романтическом сравнении, которое возникло в тот момент (или потом) в моем сознании: двое мужчин, ехавших в машине и посадивших нас к себе, поступили так же благородно, как поступил юноша Тимур, герой книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», который на папином мотоцикле с зажженной фарой повез ночью с дачи в Москву знакомую девочку, чтобы она смогла попрощаться на вокзале с папой, командиром Красной Армии, которого срочно вызвали на фронт. Вот как этот простой эпизод отложился в моей детской памяти... Пожалуй, моя собеседница-спорица в чем-то права.

Нам повезло: остановился импозантный ЗИС-101 каких-то дачников. Нас посадили и привезли в Москву, к тётке Шуре. Я спрашивал у мамы, кто нас подвез? Мама ответила, что не знает, но, кажется, он был «каким-то артистом». Жаль, что мама была необщительна! В тот день она была очень озабочена мыслями о том, как снова менять нашу жизнь,...но всё же жаль! Автомобилями марки ЗиС-101 тогда пользовались только привилегированные люди, и если «он» был артистом, то известным (и титулованным), но при этом демократичным (порядочным): подвез женщину с ребенком в напряженной обстановке, в ночной темноте. Хотелось бы знать, кому мы были обязаны? Так рассуждаю я сейчас. А тогда я запомнил необычность автомобиля, его хозяина и всей ситуации, но у меня не хватало взрослости для формулировки и выяснения этой загадки. Сейчас я уверен, что мой отец в такой ситуации обязательно познакомился бы с тем, кто его выручил. В этом была разница характеров моих родителей: мама была скованной, замкнутой, а отец — открытым и общительным.

Наутро мама пошла на работу и немедленно дала телеграмму в военкомат нашего района в Свердловске о том, что она выезжает для мобилизации по месту основного жительства. То есть — в Свердловск. Заявить об этом было легко, а вот достать билеты на поезд до Свердловска — очень трудно. Кажется, мама добилась телеграммы-вызова из Свердловского военкомата и с её помощью ценой мучительного стояния в очереди получила взрослый и детский билеты в общий вагон до Свердловска. Двое суток мы ехали в переполненном вагоне, где о том, чтобы вздремнуть лёжа, нельзя было и думать. Но мама знала по опыту Гражданской войны, а я позже убедился по рассказам свидетелей военных лет, что для той войны такой переезд в переполненном поезде был вполне обыкновенным и даже удачным.

Часть II

ВОЙНА

Свердловск, 1941 год

Эвакогоспиталь № 1705 был снова открыт в Свердловске. Маму мобилизовали, и она снова стала военврачом 3-го ранга. По её словам, одно время её хотели отправить на фронт вместе с её бывшим начальником Михаилом Владимировичем Оплетиним. Она говорила мне, что с удовольствием пошла бы на фронт, но как было оставлять меня с 73-летней бабушкой? К тому же оказалось, что по возрасту и по состоянию здоровья она, как женщина, имела право на демобилизацию (ей исполнился 41 год). В военкомате учли все это и назначили маму главным хирургом и заместителем начальника Эвакогоспиталя № 1705 по медицинской части. В августе 1941 года её демобилизовали, но на занимаемой должности в госпитале она осталась как гражданский врач. Начальником госпиталя вместо Оплетина стал другой, уже пожилой военврач. Ближе к концу лета 1941 года к нам зашёл отец, снова в военной форме. Он был назначен Главным хирургом Уральского военного округа (УралВО). Я спросил его, почему он не идёт на фронт, когда всех врачей-мужчин посылают? На это он ответил мне, что ещё год назад у него открылась язва, её залечили, но сейчас она снова открылась, его обследовали на рентгене и признали ограниченно годным к военной службе. Поэтому решили оставить в УралВО, но нагрузили работой в Главном военном госпитале УралВО и на всём Урале, помимо того, что он оставался заведующим кафедрой в мединституте.

Я, семилетний мальчишка, с гордостью смотрел кинохронику о людях, идущих на фронт, но не понимал, что происходит: эшелоны, полные бойцов, идут на запад, а с запада, всё ближе к Москве и Ленинграду, движется немецкая армия! Я всё время слушал по радио сводки Совинформбюро. Куда исчезают красноармейцы, идущие навстречу врагу? Отец и мама сказали, что вернулся с фронта какой-то знакомый врач из Свердловска. Он был в окружении и видел много других людей, вышедших из окружения. Рассказал, что вышедших из окружения арестовывают НКВД-шники и посылают в лагеря для заключённых, а это — то же самое, что было при наркомках НКВД Ягоде и Ежове (их уже официально осудили за массовые аресты в довоенные в 1937–38 годы, как якобы персонально виноватых людей). Но из лагерей уже никто не возвращался. Назывались фамилии знакомых, которых арестовали после выхода из окружения. Как-то эта информация доходила к нам в тыл, и отец сказал, что не хочет оказаться в окружении



Ф. Р. Богданов, военврач II ранга, главный хирург Уральского военного округа. 1941 год.



В. Я. Тарковская, военврач III ранга, начальник медчасти эвакогоспиталя № 1705. Форму выдали, а знаки различия — не успели. 1941 год.

и попасть потом к немцам в плен или в наш лагерь для заключённых. И всё же я в душе по-детски стыдился, что мой отец не на фронте.

В госпитале маме дали большой кабинет на первом этаже. Мамины должности — главный хирург и начальник медицинской части (начмед) — означали, что она отвечала за все лечебные вопросы — должность, аналогичная главному инженеру завода. Маме прямо подчинялись все начальники отделений, все операционные, диагностические кабинеты, лаборатория. Ответственности у неё стало гораздо больше, чем в Финскую войну, но большой удачей было то, что коллектив госпиталя был почти тем же самым, что всего несколько месяцев назад, когда госпиталь расформировывали. На должность начальника отделения, которым раньше заведовала мама, была назначена врач Нина Фёдоровна Кабакова, которая работала в этом отделении во время Финской войны. Она знала все мамнины строгие требования, и это облегчало их сотрудничество.

Начальственная должность не только не препятствовала маме вести операции, наоборот, требовала от неё ответственности за самые сложные из них. Мама говорила, что особенно хорошо ей удавались операции по извлечению из ран особо мелких осколков, благодаря высокой чувствительности её пальцев. Операции проводились чуть ли не каждый день: плановые — по специальным дням, внеплановые и срочные — в любой день и в любое время суток. Мама оперировала часто, по несколько операций в неделю.

А иногда — по несколько операций в день. Я помню, что иногда домашний телефон звонил поздно вечером или ночью, мама разговаривала с дежурным врачом и нередко немедленно отправлялась через дорогу в госпиталь.

В кабинете главного хирурга и начальника медицинской части она каждое утро, как полагается у врачей, проводила «пятиминутки»: сообщения дежурного врача и всех начальников отделений о текущих делах. В её кабинете появился большой стенд, размером примерно 2×1,5 метра, обтянутый холстом. К холсту стенда были пришиты толстыми нитками «инородные тела», извлечённые из тел раненых: пули разных видов, осколки снарядов, мин, бомб, гранат. Это было впечатляющее зрелище. Инородные тела были разных размеров: от «бусинок» типа мелкой дробы (только корявых и колючих) до огромных кусков металла размером с пол-ладони. Осколки были из разного металла: из стали, дюралюминия и каких-то сплавов; иногда на них стояли заводские номера и даже клейма. Встречались клейма с немецким орлом и свастикой в кружке. Я имел доступ в этот кабинет почти в любое время рабочего дня, когда там не происходило совещаний и других служебных дел. А иногда мама, задерживавшаяся там по вечерам, сама вызывала меня по телефону из дому, «чтобы посмотреть на меня» и просто выпить со мной чая, если у неё не было возможности уйти домой. Также можно было зайти в библиотеку госпиталя и посмотреть там журналы, например, «Огонёк» или даже медицинские журналы с фотографиями пациентов, рентгеновскими снимками, видами разных шин для рук и ног... Я к таким картинам уже привык, и мне было даже интересно.

Почти сразу после начала работы госпиталя, летом 1941 года, маме домой позвонил из Москвы Алексей Павлович Дмитриев и сказал, что поезд, на котором уезжала из Риги его жена Ирма, попал под немецкую бомбёжку, и Ирма ранена в ногу. Он сказал, что может организовать её эвакуацию в Свердловск, если мама согласна принять её к себе в госпиталь. Мама, конечно немедленно согласилась. Госпиталь № 1705 был предназначен для состава Красной армии, и жену полковника, ответственного работника Наркомата обороны можно было приравнять к имевшим право лечиться в таком госпитале. Техническая задача была только в том, что нужна была женская палата. Возможно, такие палаты уже были в госпитале, а может быть, для Ирмы Дмитриевой выделили небольшую комнатку — не помню. Алексей Павлович продолжал служить специалистом по вооружениям, «военпредом». Вообще, история по спасению Ирмы после бомбёжки поезда была трудной и напряжённой, и может быть даже не Алексей Павлович, а сама Ирма попросила в санитарном поезде доставить её именно в Свердловск, и одновременно связаться с её мужем. В общем, вокруг этого были большие хлопоты. Мама знала все более подробно, чем я излагаю сейчас. Я только помню, что какой-то элемент везения в том, что Ирма попала имен-

но в мамин госпиталь, был. И это спасло ей ногу. Кости голени у неё были раздроблены. В таких случаях в медсанбатах и других полевых госпиталях рекомендовалось ампутировать конечность, чтобы не началась гангрена. Антибиотиков ещё не было. По инструкции спасали не ногу или руку, а человека, и спасали простейшим путем. За время Великой Отечественной войны через операционные фронтовых и тыловых госпиталей прошли миллионы раненых, и многие из них не раз и не два раза побывали на операционных столах. Я сейчас думаю, что если в той войне, по официальным данным, погибло 26 или 27 миллионов граждан СССР (военных и мирных), то раненых было не меньше, а больше.

Я не помню, открылись ли 1 сентября 1941 года школы в Свердловске, потому что многие школьные здания были заняты под госпитали. Но в том году мне и не полагалось идти в школу. Мне исполнилось 7 лет, а в довоенные годы в первый класс принимали с 8 лет. Однако именно этой осенью меня начали учить писать в тетради с косой линейкой. Занятия эти прервались зимой, когда начались сильные морозы.

На Урале появилось много людей, эвакуированных из западных областей. В Свердловске это были в основном москвичи. Их расселяли по частным квартирам, это называлось «уплотнением». Нас тоже уплотнили, и мама отвела для приезжего жильца мою детскую комнату. Комната была «запроходной», т. е. жилец должен был пройти через большую комнату, называвшуюся столовой. Меня переместили в эту «столовую». Мама оставила себе изолированный кабинет. А бабушка продолжала спать в коморке за плитой. Её «жилой комнатой» была вся кухня, — до той поры, пока не начались морозы. Тогда кухня превратилась в нашу единственную жилую комнату. Центральное отопление было слабым, может быть, его вообще отключили. Всем жильцам домов разрешили установить печки-«буржуйки» — железные печурки, обязательно на подложенном под них железном листе, а дымовая труба выводилась в окно. Такую «буржуйку» установили в комнате нашего одинокого жильца. Я плохо его помню. Он где-то работал и приходил домой поздно. Я переехал жить на кухню, где топились плита. А мама? Кажется, в её комнате (в кабинете) «буржуйки» не было, мама тоже спала с нами на кухне, но помню, что в ту зиму она часто оставалась ночевать в своем кабинете в госпитале, где отопление работало. У госпиталя была своя котельная, и на хозяйственном дворе лежала огромная куча каменного угля.

В ноябре 1941 года, когда и на Урале, и в столице уже были морозы, началось сражение под Москвой. Мы напряжённо следили за сводками новостей. Я всё объяснял бабушке, не очень разбиравшейся в географии, что и где происходит, где города Клин, Можайск, которые уже захватили немцы, движущиеся дальше к Москве.

Помню об облегчении и радости, с которыми услышал о начале контрнаступления сибирских дивизий под Москвой в декабре 1941 года. Причем главной радостью для меня стало то, что красноармейцы были на снегу в белых полушубках и валенках, как сказало радио. Я до этого слышал о красноармейцах с обмороженными и почерневшими ступнями ног во время Финской войны и видел их с ампутированными (ОТРЕЗАННЫМИ!) ступнями у мамы в госпитале. А тут — валенки в 30-градусный мороз! А у немцев — обмотки, и ужасное зрелище: замерзшие немецкие пленные в кадрах кинохроники... и замерзшие трупы... Глядя на это в темном кинозале, я почти физически ощущал леденящую стужу и снежную выюгу. Они и в тылу, на Урале были суровы.

Помню, что ещё до этого контрнаступления мы в Свердловске не сомневались, что немцы **не** захватят Москву. Возможность захвата немцами Москвы не укладывалась в детской голове.

В госпитале возобновили показ кинофильмов. Перед ними всегда демонстрировали кинохронику; и вот, когда немецкое наступление остановили и началось контрнаступление Красной Армии, в кинохронике появились кадры с видом освобожденных, но сожженных городов и деревень, с разбитой немецкой техникой, застрявшей в снегу. Все хорошие новости кинозал, наполненный ранеными, встречал аплодисментами. Хотелось радоваться всему хорошему.

Кинофильм «Чапаев» появился на экранах позже разгрома немцев под Москвой, но напишу о его просмотре в этой части моего рассказа. К киноленте была добавлена новая часть. Как известно, фильм заканчивается тем, что Чапаев пытается переплыть реку Урал, спасаясь от белых, и по нему стреляют с высокого берега. Его голова скрывается под водой, и на этом фильм кончается... но вдруг начинается новая часть фильма! Чапаев выходит из реки на берег, и камера показывает ряд советских танков довоенного образца (я тогда уже разбирался во всех моделях танков по картинкам). И вот Чапаев уже в полной военной форме, в сапогах и своей знаменитой чёрной папахе идет вдоль строя этих танков. Командир танковой бригады встречает его, берет под козырёк и рапортует, что танковая бригада Красной Армии готова к отправке на фронт, бить врага, бить немецко-фашистских захватчиков. Кинозал ликует. Взрослые парни и дядьки в пижамах или в нижних рубашках, а то и просто в рубашках и кальсонах кричат, аплодируют, ликуют, потрясают костылями, как винтовками! Когда-то потом, и то не до каждого, дойдет, что и танков таких при Чапаеве не было, и не дожил он до этой войны, но это не главное, важно, что простой и своевременный кинематографический трюк сделан вовремя, и для важного дела: всколыхнуть, обрадовать, зарядить людей верой и надеждой в несомненную победу! Даже



Таким я был в 8 лет в 1942 году.

я, спустя сколько-то минут после показа этих кадров, понимал, что это фантазия, сказка для взрослых, но как она была нужна в те тяжёлые годы для людей, готовых хоть на время наивно поверить в неё! Потом, в более сознательном возрасте, я слышал или читал разглагольствования идеологов о силе киноискусства («Из всех видов искусства важнейшим для нас является кино» — сказал Ленин), и я вспоминал эту киносказку о воскресшем Чапаеве. Она была примитивным, но неопровержимым доказательством справедливости этого тезиса для идеологической пропаганды в XX веке.

Накануне или сразу после Нового 1942 года на площадь 1905 года в Свердловске привезли трофейную немецкую технику и поставили на всеобщее обозрение. По-моему, сначала её огораживали верёвкой и дежурили милиционеры, но потом дали свободный доступ всем. Там был немецкий самолёт «Мессершмидт 109», какой-то танк или танкетка, пушки, но больше всего пользовался вниманием мальчишек самолёт. На него взбирались, ходили по крыльям, залезали в кабину, наверное, отломали всё, что можно было отломать, на память. Это было реальное, а не «киношное» доказательство того, что наши научились воевать с немцами и побеждать их.

Летом 1942 года один месяц я провел с бабушкой в городе Алапаевске. Тогда он выглядел как очень большое село. Мама сняла там для нас комнату на окраине города, в доме на углу какой-то дороги. Это считалось дачей. Но дачный отдых оказался неудачным. Какой-то примитивной зелени (зеленого лука и супа из лебеды) и молодой картошки мы немного поели, но весь

месяц шёл дождь. Мы с бабушкой сидели в комнате, смотрели из окна на дорогу, по которой редко кто проезжал, до одури играли в карты, в «дурака» и «акулину»; я что-то читал, но скука была «зелёная».

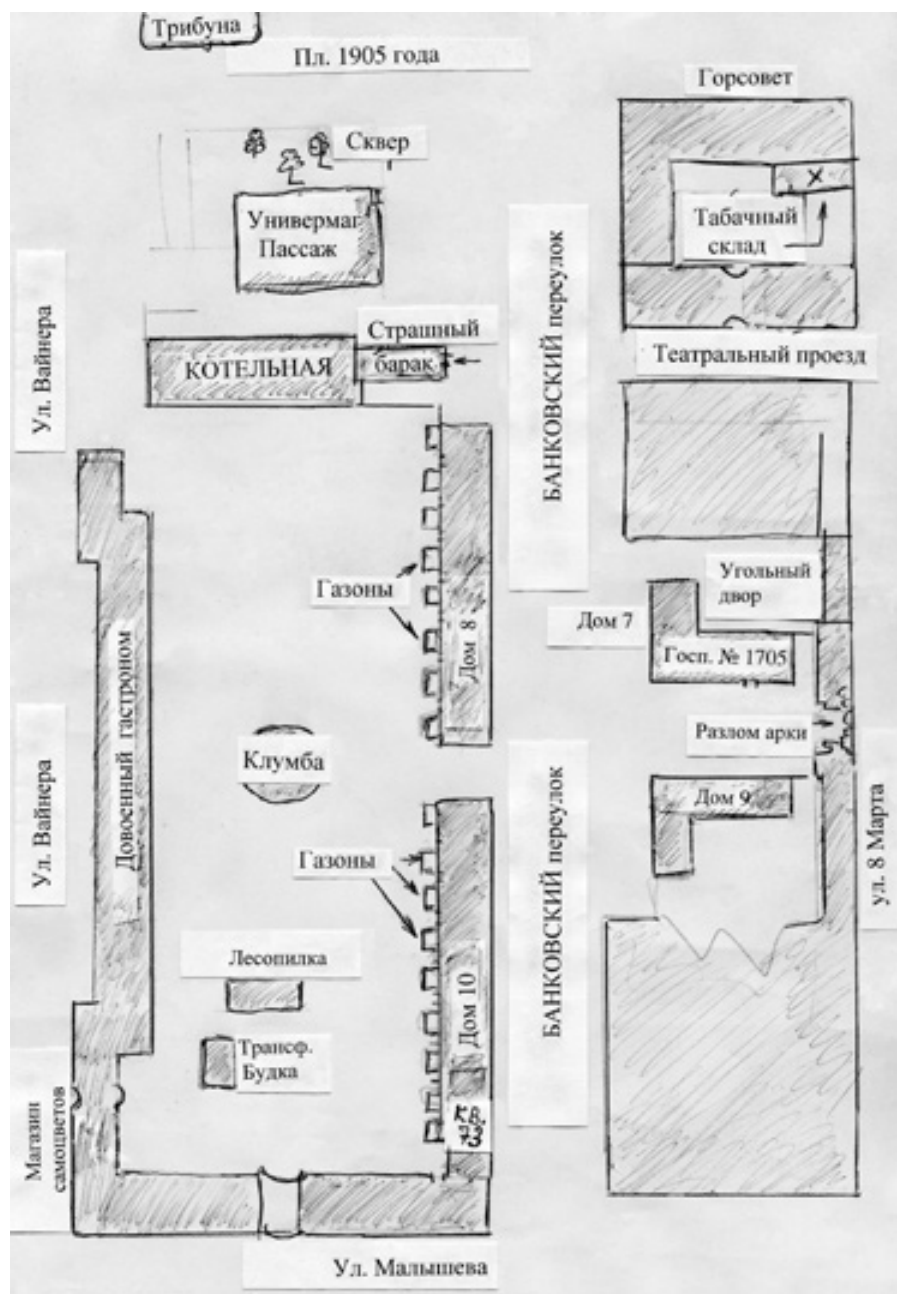
В сентябре 1942 года школы точно не открылись. Говорили, что нечем было топить и ещё что-то. Я не знаю, платили или нет зарплату неработавшим учителям, но помню разговоры, что учителя бедствовали. Мама решила, чтобы я не терял времени, продолжить учить меня дома, и ко мне два или три раза в неделю приходила учительница и давала домашние задания по русскому языку и по арифметике. Мама что-то платила этой учительнице. Кроме того, мама наняла учительницу французского языка. Мы с ней занимались месяца три, пока не начались сильные морозы, и заниматься в холодном кабинете стало невозможно. Нужно сказать, что эти уроки французского дали мне кое-что в смысле общего развития и понимания того, что иностранный язык — это интересно.

Дворовая жизнь

Дворовая жизнь для детей школьного возраста — это важная часть жизни и часть жизненной школы. Особых друзей, кроме упомянутого выше Роберта, у меня не было, но было несколько знакомых мальчишек. Дальше я расскажу о нескольких запомнившихся мне эпизодах дворовой жизни.

Во-первых, я довольно рано получил урок: не шутить с опасной техникой. К соседнему подъезду приехал грузовик, «полуторка». Разгружали какие-то домашние вещи. Я шнырял вокруг грузовика, заглядывая под него. Шофёр грузовика в это время открывал задний борт, откинул один замок, пошёл к другому, а я подскочил близко к борту посмотреть, как он будет откидываться. Шофёр, стоя ко мне спиной, откинул второй, дальний от меня крюк, дощатый борт полетел вниз, огрел меня по голове и затолкнул под кузов грузовика. Сознания я не потерял, но удар был сильным, голова у меня «поплыла», и я, очухавшись немного, сидя на корточках, понял, что надо идти домой. Никому ничего не сказал, позвонил в дверь, шмыгнул в кабинет, лёг на диван и лежал долго, наверное, до вечера. Много лет спустя я узнал, что бывают сотрясения мозга. Было оно у меня или нет — осталось неизвестным.

Второй урок был ещё опаснее. Появилась очень ценная информация: в каком-то подъезде нашего дома на площадке 5-го этажа открыт люк на крышу, а к люку с площадки ведёт железная лестница. Можно попасть на чердак, а через чердачное окно, которое заманчиво гнездилось над каждым подъездом, попасть на крышу! Вот это шанс: погулять по крыше нашего дома! Втроём, не помню с кем, мы проделали этот путь. Немного страшновато было вылезать из чердачного окна на карниз крыши, но тот, кто был за-



План-схема домов и двора в Банковском переулке в 1940-е годы. Составлено по памяти, но с проверкой «на местности» в 1992 и 2013 годах. Сейчас нет клумбы, лесопилки и «страшного барака». В помещении бывшей котельной — спортзал. Раньше во двор можно было войти с трёх сторон, а теперь — только с Банковского переулка. Двор засажен деревьями, но вместо газонов между подъездами — асфальт, и машины стоят прямо под окнами. Указан Эвакогоспиталь № 1705.



Моя любимая лестница с видом на Банковский пер. в Госпитале № 1705, а теперь — УНИИТО. Фотография сделана 24 июня 2013 года.

водилой, личным примером показал, что можно держаться за концы наружной пожарной лестницы (идущей от земли), которые немного выступали выше обреза крыши. Это давало некоторую страховку. В общем, мы вылезли и с восторгом пошли вверх по наклонной крыше к её вершине. Хорошо, что шли не очень быстро, потому что когда я достиг этой вершины, то увидел, что противоположного ската крыши нет. Дом был с односкатной крышей. В сторону Банковского переулка край крыши был выше, чем в сторону двора, и я увидел перед собой бездну, не ущелье Кавказа конечно, но крутой обрыв стены вниз и газон под домом. Дух захватило, и меня объял ужас от неожиданности этого вида. Ребята тоже испугались. Я не помню, кто и как шёл обратно к чердачному окну вниз, но я сползал к нему на четвереньках, пятясь задом. А ещё предстояло пройти или проползти по карнизу мимо угла чердачного окна и залезть в него! Через много лет после этого я с первого раза понял объяснение инструктора по горному туризму, что спускаться с горы вниз труднее и опаснее, чем лезть в гору. После этого похода на крышу у меня возникла устойчивая боязнь высоты. Я стал панически бояться стоять на краю обрыва, например, на вершине Ай-Петри или на любой скале над морем и даже на балконе высокого этажа, если перила балкона оказываются ниже моей талии, то есть ниже центра тяжести тела. Смотреть на Москву с последнего яруса Останкинской телебашни я могу, но где-то в подсознании при этом у меня гнездится «память крыши дома на Банковском переулке». К этим «щекотливым» ощущениям



Банковский переулок, дом № 7. Здесь был Эвакогоспиталь № 1705, затем Институт ВОСХИТО, а теперь УНИИТО им. В. Д. Чаклина — организатора этого института в 1931 году. На здании есть мемориальная доска о госпитале, а внутри — экспозиция, посвященная госпиталю и истории Института.

ям я ещё вернусь, когда буду описывать мой траверз ледников на Кавказе в студенческие годы.

После перепугавшего меня случая на крыше нужно было восстанавливать храбрость. Я задумал простейший способ: пойти к барaku около котельной и зайти в него. Надо сказать, что я выбрал самый лёгкий из возможных способов испытания себя «страшным» баракom, про который, помните, я уже писал, что «там убивают». Испытывал я себя днём, когда обитатели барака работали. Был солнечный будний день. Я вошел в дверь на торце барака, увидел перед собой длинный пустой коридор, закрытые двери по обе его стороны и светлое окошко в его конце. Прислушался: никаких звуков. Пошел по коридору, увидел большую пустую кухню (очевидно, что на работе были все) и, всё-таки немного подрагивая поджилками, медленно с «независимым» видом пошел назад. Я уже читал или слышал где-то, что обязательно надо делать вид, что не боишься. Но выход на светлую улицу принёс мне облегчение. Я никому об этом походе не рассказывал. Сделал интриговавшее меня «дело», и ладно...

Ещё один эпизод воспитания смелости был связан с коллективным мероприятием. Мне уже было 9 лет, шел 1943 год, я учился в школе, и круг знакомых расширился. Но всё же сообщники были из нашего двора. Из всех

видов искусства важнейшим для нас является кино — «Пойдешь с нами воровать?» — «Что воровать?» — «Папиросные гильзы на табачной фабрике. Потом понесём на рынок, продадим, и будут деньги». Я согласился. Фабрика была в переулке, перпендикулярном Банковскому переулку, во дворе многоэтажного здания. Мы вошли во двор, подошли к какой-то двери и заглянули в неё. За дверью было обширное и высокое складское помещение. На большом расстоянии от двери начинались высокие штабели ящиков. «Вон там, в конце этих штабелей», — сказал заводила. Мы были ровесниками. Мне было определено место стоять «на шухере» у входной двери, «Ты ещё не умеешь воровать, дальше тебе нельзя», — аргумент «атамана», и инструкция: ни в коем случае не покидать своего поста, иначе всех схватят. А если кто-то с улицы пойдет в эту дверь, то подать сигнал, какой — уже не помню. Я простоял «на шухере», как мне казалось, не менее 10 минут. Конечно, чувствовал себя боязливо, но укреплялся мыслью, что от меня зависит если не жизнь, то судьба всех остальных, и это придавало храбрости и даже спокойствия. Минут через 10 стали появляться из-за ящиков остальные «налётчики» и с беспечным видом сообщили: «Ничего не выйдет, попрятали те ящики». У меня возникло подозрение, что не очень-то они и старались найти те самые ящики с папиросными гильзами. Так, предприняли для себя не очень большое приключение, вроде моего посещения «страшного» барака. Но я стал считать себя «коллективистом», артельным малым.

В углу нашего двора, в большом доме, выходившем фасадом на ул. Малышева, был просторный подъезд, как раз рядом с нашим подъездом. Мы иногда забегали туда прятаться, когда играли в прятки. И вот, однажды, я увидел на полу в углу этого подъезда мужской карманный бумажник. Взял, открыл его, увидел военный билет офицера, ещё какие-то бумажки и никаких денег. Ясно было, что бумажник был украден и подброшен. Я тут же позвал ребят и сказал, что надо отнести бумажник в милицию. «Не вздумай, — был совет — тебя же милиционеры обвинят в том, что ты украл его». Сказано было категорично и добавлено, что дворник в этом доме — хороший, он сам увидит и отнесёт. Ему поверят. Ну что же, с мнением опытных товарищей надо считаться, и, хотя совесть меня мучила, я положил бумажник «на место». Про дворника этого дома, носившего, кстати, выразительные усы, «в стиле Будённого» — большие и закрученные вверх, взрослые говорили, что сын его — генерал и служит в Генеральном штабе. Если правильно помню, его фамилия была Голиков. Когда я писал этот текст, то заглянул в разные энциклопедии и удостоверился, что в Генштабе Красной Армии во время Отечественной войны действительно работал генерал Ф. И. Голиков. Он родился в Курганской области, за Уралом, и логично было предположить, что, продвигаясь по службе, он перевёз своего отца (кстати, фельдшера) в Свердловск и пристроил на должность дворника

в начальственном доме. Но тут же я обнаружил, что в Генштабе служил и генерал С. М. Штеменко, выходец с Дона, носивший усы как у Будённого, и стал размышлять: не его ли это отец был таким усатым дворником, и сын генерала подражал ему? Эта, посторонняя для моей биографии, загадка доставила мне удовольствие, потому что я прочёл об обоих генералах довольно интересные сведения (например, как служили тот и другой, и как Голиков стал Маршалом СССР), и если мои потомки заинтересуются, то найдут эту информацию в Большой советской энциклопедии (БСЭ) или в Википедии, и попробуют угадать, кто из этих генералов понравился мне больше?

Теперь про клумбу в центре двора. До войны на неё весной высаживали цветы, и было очень даже красиво и приятно. Но в военные годы этим было заниматься некому. Клумбу затоптали. Она осталась большим, слегка конусообразным пригорком, и её избрали местом игр в войну. Игра была простая. Стихийно собирались две команды, располагались по разные стороны клумбы, и начиналась «атака на высоту» или «оборона высоты». Оружием были комки земли и даже камни. Такие сражения бывали скоротечными. Кто-то побеждал, кому-то становилось больно от попавшего камня, и «война» затухала. Однажды в таком «сражении за высоту» участвовал Джим Патерсон, тот самый, но подросший до 10 лет мальчик, которого Любовь Орлова держала на руках в знаменитом фильме «Цирк». Фильм знали все. А Джим был эвакуирован из Москвы в Свердловск, и его мама (не Любовь Орлова, конечно) работала в Эвакогоспитале № 1705, т. е. в «мамино» госпитале. Она работала в оргметодотделе или в библиотеке, не помню. Кажется, мама предлагала мне познакомиться с мамой Джима, но я почему-то уклонился от этого. Наверное, стеснялся, ведь он был знаменитым, так о чём говорить с ним, чтобы не выглядеть дураком? Такой комплекс боязни знакомства со знаменитыми людьми и ребятами, которые были старше, у меня, увы, был. Я знал, что Джим примерно на год или два старше меня (уже препятствие!). А потом от мамы узнал, что после окончания школы он пошёл учиться в Высшее училище гражданского морского флота, которое располагалось в Риге.

Ну, вот и весь небогатый набор моих дворовых приключений в Банковском переулке.

Возвратный тиф, 1942 год

Написав это заглавие, я задумался о том, кто легче переносит тяжёлые болезни: взрослые или дети? Наверно, это праздный вопрос. Безусловно, многое зависит от физических особенностей каждого человека и от индивидуальной психики. Я в детстве болел довольно много. О тяжелых заболеваниях малярией я уже писал. Ещё одной моей



На торжественном собрании в госпитале № 1705. В президиуме собрания — политрук госпиталя и начальник медицинской части (моя мама).

серьезной болезнью был возвратный тиф. Возвратным он называется потому, что после нескольких тяжелых дней и улучшения состояния приступ болезни и высокая температура повторяются. Я болел этим тифом летом 1942 года. Как долго болел — не помню, но болел тяжело. Температура у меня поднималась до 41 °С. Мама говорила, что это почти предел, который может переносить организм человека. Помню, что лежал я на большой постели в большой (проходной) комнате; помню, что у меня были бредовые галлюцинации. Однажды бред сочетался с сильным сердцебиением. Я вскочил на ноги и просил маму держать мою попку, чтобы сердце через неё не выскочило. Мама говорила, что такого не бывает, но я истерически потребовал, чтобы она держала, иначе я умру (для этого тифа характерен бред).

После этого из моего письменного стола мама унесла на работу военный пистолет — браунинг, принадлежавший политруку госпиталя. Браунинг со стреляными, т. е. пустыми гильзами был дан мне в качестве игрушки... или «отступного», чтобы я не мешал политруку ухаживать за моей мамой (см. фото). Во время болезни браунинг лежал у меня под подушкой, как самая любимая и секретная игрушка. Никто из знакомых мальчишек не знал, что он у меня есть. Это было твёрдое условие политрука, и я с детства привык выполнять строгие условия и хранить секреты. А тут, после

бредовой истерики, мама решила, что «игрушку» пора изъять. Сказала, что политрук должен предъявить начальству своё оружие для проверки. Возможно, так оно и было. Давая мне браунинг поиграть, политрук снабдил меня полной инструкцией, как с ним обращаться. С тех пор я стал разбираться в оружии, в принципах работы огнестрельного оружия, в правилах его разборки-сборки, чистки, хранения и безопасного обращения с ним. Всё это я изучил и соблюдал.

Насколько помню, болезнь возвратным тифом я перенёс в конце лета 1942 года. Не могу сказать, чем меня лечили в тот раз, но вообще любимым лекарством от всех инфекционных болезней в 1940–50-е годы у моей мамы были красный стрептоцид и уротропин. Оба эти лекарства в 70-е или 80-е годы были категорически запрещены и изъяты Минздравом из ассортимента аптек. Так белое становится чёрным не только в политике, но и в повседневной жизни. А жизнь иногда держится на слепой вере в тот или иной «цвет» окружающих вещей и событий.

В то лето 1942 года появилось сообщение, что наши войска сначала освободили, а потом снова покинули Харьков. Я уже прекрасно понимал, что это означало поражение на том участке фронта и новую волну жертв. Об этом говорили раненые в госпитале. Волна немецкого наступления покатилась к Волге. Немцы также заняли Северный Кавказ. Настроение в тылу было паршивое, но, как и полагается русским людям, все надеялись на новое чудо, подобное разгрому немцев под Москвой в прошлую зиму 1941-го года.

Закончу рассказ о 1942 годе отступлением от темы. Читатель, безусловно, замечает, что в этой части моей повести почти нет фотографий: всего две, в отличие от обилия иллюстраций в «довоенной» первой части. Это не случайно: во время войны исчезли фотографии, исчезли из продажи и фотоматериалы. Дядей и юношей, которые умели фотографировать и имели фотоаппараты (а фотоаппараты до войны были предметами роскоши), мобилизовали в армию, остались только «официальные» фотографии, как те, что сфотографировали моих родителей в военной форме и маму с политруком на торжественном заседании. Однако, вспомнил! У нас до войны был фотоаппарат ФЭД, на котором стояла фирменная надпись: «Трудкоммуна имени Ф. Э. Дзержинского» (отсюда и аббревиатура ФЭД) и был указан год выпуска, кажется 1935-й. Это потом фабрику переименовали, и на фотоаппаратах появились надписи: «Завод имени Ф. Э. Дзержинского. 1937 г.». Такой фотоаппарат был в семье моей будущей жены Наташи Ляпуновой. Оба фотоаппарата до сих пор хранятся — антиквариат!

Зима 1942–43 годов. Оборона Сталинграда.

Карточная система

Эта зима была такой же холодной, как и первая военная зима 1941–42 годов, но переносилась тяжелее. Во-первых, ещё больше разрушилось городское хозяйство. Перестало работать или было сильно ограничено центральное отопление, обогревались печками-буржуйками. Как было с водой в нашем пятиэтажном доме — увы, не помню. Не исключено, что водопроводчик прошёл по квартирам, отключил все батареи центрального отопления, кроме кухонной и батареи в ванной, чтобы был меньше расход тёплой воды в трубах, но чтобы водопровод не замерзал. Наверное, так и было. Во-вторых, из-за неполноценного питания за полтора года войны люди ослабли.

Всем выдавали «карточки»: хлебные и продовольственные — отдельно. Были разные категории карточек: для рабочих, для служащих, «иждивенческие» (для взрослых неработающих членов семьи) и детские. Я расположил эти названия по количеству хлеба, которое полагалось в день на человека (на один талон карточки). Каждая карточка содержала талоны по числу дней месяца. Эти талоны продавец вырезал ножницами при каждой покупке и отчитывался за проданный хлеб этими талонами. По продовольственной карточке выдавали скудные бакалейные товары и редко какое-то мясо (кости) или рыбу (чаще — селедку). Кроме талона нужно было заплатить деньги, за хлеб — копейки, а остальное дороже, но по фиксированным ценам.

Я несколько раз ходил с бабушкой «отovarивать» карточки. Это было удручающее зрелище — очереди, толчея, нередко свары: кто за кем занимал очередь. Но с получением хлеба как-то дело наладилось. Наверно бабушка изучила ситуацию с очередями и ходила тогда, когда народу поменьше. Но как варварски грузчики обращались с хлебом! Я видел, как иногда они ходили сапогами прямо по открытым ящикам с буханками. Старались на буханки не наступать, но понятия о гигиене, конечно, не было. Буханки иногда падали на пол, но это продавцов не смущало, да и лишних буханок не было: всё по числу карточек в данном районе, а пропажа буханки приравнивалась к воровству!

Кроме магазинов, работавших по карточной системе, был рынок. Несколько раз я ходит туда с бабушкой. На рынке можно было купить и хлеб, и масло, и мясо, но цены были заоблачными по сравнению с зарплатами, например по сравнению с зарплатой врача или учителя. Я запомнил только одну цифру: буханка хлеба **на рынке** стоила 200 рублей, а средняя зарплата в России по свидетельству, которое я получил из интернета (в 2013 году), составляла 435 рублей. Тот же сайт интернета сообщил, что на всю эту среднюю месячную зарплату в 1944 году можно было купить лишь 5,3 кг картошки!

Зима 1942–43 годов была наиболее голодной. Картошка (на рынке) была дорогой. Бабушка не выбрасывала картофельные очистки, а провертывала их через мясорубку и делала из этого картофельного «фарша» котлеты. Маму кормили в госпитале, что позволяло нам с бабушкой съедать продукты, которые мы получали по маминой карточке служащего. По сравнению со многими другими семьями, мы питались не худшим образом. Всё-таки у нас с бабушкой было три карточки на двоих, да ещё и зарплата мамы была не самой маленькой, что позволяло изредка что-то покупать на рынке. А кроме того бабушка была изобретательным кулинаром.

Почти всю эту зиму мы с бабушкой прожили на кухне. Так было теплее. Я с благодарностью вспоминаю наше радио времён войны. Люди моего поколения помнят чёрные «тарелки» — домашние репродукторы радио. Конечно, по радио передавали много пропаганды. Это хорошо понимали взрослые, и по их разговорам кое-что, на свой лад, понимали и дети. Однако передавали и информацию о положении на фронте. Это были знаменитые «Сводки Информбюро». Взрослые говорили, что эти сводки искажают истинные события, но они же умели эту дезинформацию интерпретировать ближе к сути дела. Слова: «Под натиском превосходящих сил противника наши войска вынуждены были отступить» означали очередной разгром наших войск; слова: «Наши войска вели бои местного значения» означали, как говорили раненые, что командование без конца приказывало предпринимать атаки, но немцы их отбивали, и мы несли потери... Но всё же именно из передач радио мы узнавали о том, где примерно идут бои. А когда в ноябре 1942 года началось наступление Красной Армии под Сталинградом, радио стало ежедневно приносить хорошие известия. Кроме того по радио велись интересные литературные передачи, с помощью радио я познакомился с классической музыкой, с ведущими оперными и драматическими артистами. Замечательные песни поры, которая предшествовала войне, и времён самой Великой Отечественной войны — «Катюша», «Вечер на рейде», «Бьётся в тесной печурке огонь», «Синий платочек» — тоже приходили к нам по радио. Один из любимых многими фильм «Два бойца» с его замечательными песнями: «Тёмная ночь» и «Шаланды полные кефали», я впервые увидел на киносеансе в госпитале, но затем эти песни снова звучали по радио.

В ту осень и зиму все напряжённо ждали, сумеют ли наши войска отстоять Сталинград? Немцы окружили город ещё до начала зимы. Но вот, по тому же радио на кухне, я, неожиданно для всех нас, живших в тылу, услышал о том, что наши войска начали контрнаступление с юга и с севера от Сталинграда. И вдруг вскоре прозвучало сообщение: «СОЕДИНИЛИСЬ (!) и замкнули кольцо окружения» вокруг группировки немецких войск в Сталинграде! Я **ликовал** и объяснял бабушке, как это замечатель-

но! И мама пришла домой с работы радостная! Мне до сих пор чудятся интонации и тембр голоса диктора Левитана, говорившего эти слова: «... соединились и замкнули!». И все, слышавшие его голос, уверен, помнят интонации и модуляции, с которыми он произносил подобное. Это было 19 ноября 1942 года. Я сразу же твердо запомнил эту дату: «сработала» мальчишеская (мужская) память на факты и события. Не запомнить было невозможно ещё и потому, что этот день был объявлен «Днём артиллерии». Любознательные мальчишки такие вещи не забывают.

Но бои в Сталинграде продолжались. Немцы с фельдмаршалом Паулюсом сдались в плен лишь в январе 1943 года. Положительные сводки Совинформбюро поддерживали настроение и помогали пережить трудную зиму.

В начале 1943 года по радио объявили о появлении нового гимна Советского Союза со словами «Союз нерушимый республик свободных...». Он пришёл на смену «Интернационалу», который был государственным гимном до того. Затем по радио и в газетах объявили об учреждении новой системы воинских званий и введении погон с сержантскими нашивками и офицерскими звездочками вместо «треугольников» на петлицах у сержантов и «кубиков» и «шпал» у «командиров», которых снова, как в царской армии, стали называть офицерами. Вместо командира бригады (комбрига), командира дивизии (комдива), командиров корпуса и армии (комкора и командарма) появились генералы со странным для нас порядком званий: младший генеральский чин был генерал-майор, затем следовал генерал-лейтенант (не так как у офицеров!), а потом — генерал-полковник и генерал армии. Одновременно появились маршалы родов войск: авиации, артиллерии, бронетанковых войск. Наконец, были учреждены новые ордена, которые назывались орденами Суворова, Кутузова, Александра Невского — для армии, Ушакова, Нахимова, для флота и Орден Отечественной войны — для всех родов войск. Появились и медали за оборону городов-героев. Сначала такими городами были провозглашены четыре: Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса. Москва была названа городом-героем попозже, по-моему, после окончания войны. Для мальчишеского воображения все эти воинские звания, ордена и прочее были чрезвычайно интересными и занимательными!

Ещё осенью 1942 года я получил от приходившей на дом учительницы задание по письму и арифметике и долгими зимними вечерами писал в тетрадках «прописи», потом упражнения и простейшую арифметику в объеме сначала первого, а потом и второго классов. Учительница дала мне учебники. Всё начиналось с «Букваря» — был такой стандартный учебник для первого класса.

Лето 1943 года. Навыки сельской жизни.

Ещё раз о бабушках

К началу лета 1943 года я уже закончил в домашних условиях программу второго класса. Весной учительница снова время от времени заходила к нам, чтобы проверить мои тетради, и сказала, что осенью мне можно будет идти сразу в третий класс. Я бегло читал, вполне сносно писал и владел элементарной арифметикой. У меня была прекрасная память. Я знал довольно много стихов из школьных учебников и помимо них. В общем, развивался быстро. Предстояло новое лето и хотелось хорошо отдохнуть от сидения в четырех стенах и жизни в нашем дворе. К счастью, такая возможность появилась.

Мамин госпиталь получил подсобное хозяйство. Это был колхоз или совхоз в деревне Чердынцево Свердловской области. Туда летом повезли на поправку выздоравливающих раненых, уже способных к какому-то труду. А возможно это были уже инвалиды войны, но трудоспособные в какой-то форме? Конкретных примеров не помню. Помню только, что мы поехали туда с бабушкой Марией Оттоновной. Спали с ней на сенных матрасах на полу посреди просторной избы, в которой жила строгая хозяйка. Всё светлое время дня, если не было дождя, я проводил на улице. К счастью, дожди бывали редко, и погода стояла тёплая, даже жаркая. Шёл сенокос, и я проводил много времени на лугах. Деревенских мальчишек и меня вместе с ними пристроили помогать убирать сено. Я учился работать граблями и вилами, понял технологию сушки сена и складывания его в стога. Иногда работал на верхушке стога, принимая и укладывая новые слои сена. Я был более или менее ловким мальчиком, и у меня получалось не хуже, чем у деревенских мальчишек. Мне было уже 9 лет, и рост у меня был большим для этого возраста, что позволяло справляться с вилами. Но главной моей радостью и гордостью была работа на «волокушах», на которую меня отрядили распорядители работ.

Волокуша — это две примерно пятиметровые (или даже длиннее) срубленные берёзки, которые вместо телеги и оглобель впрягались в дугу лошади и волоклись по земле (по траве). На ветки этих берёзок накладывали вилами большие охапки, точнее — маленькие копёнки сена, и лошадь оттаскивала эту волокушу к большой копне. Сено с волокуши забрасывали вилами на большую копну. Управлять волокушами можно было, ведя лошадь под уздцы, но более рационально — посадить на лошадь верхом мальчишку, чтобы он вёл её. Так было быстрее и надёжнее, и безопаснее для мальчишки (нет опасности попасть под копыта на поворотах). И не надо занимать этой работой взрослых. Водить лошадь под уздцы — занятие не для маленьких, но мальчишка может управлять лошастью, сидя верхом (это, к тому же, легче

для лошади). А для мальчишек работа превращается в удовольствие. Такое удовольствие я испытывал несколько дней подряд, пока шла уборка сена. К счастью, у меня почти не было конкурентов, а работа хорошо получалась. Нужно добавить, что я изучил все этапы запряжки лошадей (не только в волокушу, но и в телегу). Конечно, у самого запрягать не получилось бы — силёнки не хватало затягивать хомут, но теорию, как запрягать лошадь, я изучил.

Это лето в Чердынцеве оказалось самым интересным и удачным летом моего детства. К первым числам августа того 1943 года мы с бабушкой вернулись в город. В один из августовских дней мы услышали по радио, что в Москве будет дан артиллерийский салют в честь освобождения городов Белгорода и Орла. Это было историческим событием! На следующий день все говорили, что слушали звуки салюта по радио. Стал ощущаться перелом в войне...

Весной или летом 1943 года немецкие войска вынуждены были отступить с Северного Кавказа, который частично оккупировали в 1942 году. Там в городе-курорте Ессентуки на Кавказских минеральных водах жила моя бабушка Прасковья Артемьевна Богданова, мама моего отца. Она жила там с моей тётёй, Татьяной Родионовной, мужем тёти, Кузьмой Матвеевичем Пятыгиным, и младшей внучкой Ангелиной. Они прожили там всё время оккупации «под немцами». Другие её внучки, а мои двоюродные сёстры Тамара и Ира (Ираида) жили перед войной в Свердловске. Мой отец (их дядя Федя), позаботился об их устройстве. Тамара была каким-то инженером, а Ира — студенткой Свердловского мединститута. В 1943 году, после окончания 4-го курса мединститута всем студентам курса вручили дипломы врачей и отправили на фронт. Ира была военврачом до 1946 года. Она начала войну где-то в районе Курской дуги, ближе к Орлу, закончила её в Чехии, а потом работала военврачом в Австрии (см. фото).

После освобождения Ессентуков от немцев мой отец перевёз свою маму в Свердловск. Его жена, Наталия Ивановна Киселевская, не хотела, чтобы Прасковья Артемьевна жила с ними, и отцу пришлось снять комнату для своей мамы, моей бабушки, неподалеку от его дома. Забегая вперед: в 1946 году, живя с моей мамой уже в Москве, я приезжал в гости к отцу в Свердловск во время летних каникул и дважды (всего два раза!) побывал в гостях у бабушки Прасковьи Артемьевны. Гораздо позже от знакомой с ней женщины я узнал, что Прасковья Артемьевна была интересной рассказчицей. К сожалению, я был в те годы неконтактным мальчиком и не сумел подружиться с ней. Хотя чувствовал, что бабушке хотелось расположить к себе своего единственного внука. Теперь жалею, что не довелось послушать её рассказы, которые наверняка были бы для меня интересны, и думаю, что я кое-что запомнил бы из её рассказов, как запомнил кое-что из рассказов другой бабушки, маминой мамы.



Пятыгины — семья моей родной тётки: Кузьма Матвеевич, Ираида (военврач) и Ангелина — мои двоюродные сёстры; Татьяна Родионовна, урожденная Богданова — моя тётка. Послевоенное фото. Ессентуки. 1947 год.

Военная осень 1943 года

7 ноября 1943 года радио сообщило о форсировании нашими войсками Днепра и освобождении Киева! В том же 1943 году англо-американские войска (союзники) высадились сначала на острове Сицилия, а потом и на Апеннинском полуострове Италии и медленно двинулись вдоль этого итальянского «сапога» на север. У меня были карты всех стран. В газетах периодически публиковали карту военных действий в Италии, и я следил за продвижением линии фронта. На домашней настенной карте Европы я переставлял самодельные флажки. Это было замечательное занятие! Я изучал карту и наглядно видел реальность побед над немцами. Успехи союзников в Италии были, безусловно, нагляднее, чем мучительно медленное продвижение Красной Армии на запад по нашим городам. Конечно, все понимали, что на огромных пространствах СССР гораздо больше немецких войск, чем в этой тёплой и далёкой Италии, и что воевать с немцами на Украине и под Ленинградом гораздо труднее. А война в Италии представлялась мне чем-то вроде сражения солдатиков. Конечно, передвижение флажков и было моей «игрой в солдатiki». Эта игра не шла в сравнение с тем, что я видел в кинохронике на сеансах в мамином госпитале: разрушенные русские города, сожжённые сёла, голодных людей, вылезавших из землянок и подвалов навстречу нашим наступавшим войскам. Но играть хотелось, и я ощущал

себя счастливым, ибо прекрасно понимал разницу между жизнью тех людей, что видел на экране и моим благополучным существованием.

В том же 1943 году на территории СССР формировалась Народно-освободительная армия Польши «Армия людова». Поляки встречались повсюду в нашей стране, и их вербовали в эту армию. У мамы был какой-то знакомый, обрусевший поляк из бывших инженеров на Урале или из раненых, лечившихся в её госпитале и демобилизованных из Красной Армии после лечения, точно не помню. Я о нём слышал от мамы, и он даже заходил к нам. Мама испытывала потребность делиться со мной некоторыми житейскими новостями: вылечила соотечественника, поляка, и он ей очень благодарен, и они беседовали о Польше. Тут он появился снова, и мама рассказал, что он уже записан в Польскую Армию и даже уговаривал её тоже вступить в эту армию военврачом. Затем мама сказала, что этих мобилизованных поляков отправляют в Иран. Эти польские войска стали называться Армией Крайовой («Армия страны»). Мы тогда ничего не знали о расстреле польских офицеров в Катыни перед войной с немцами, и вообще очень многого не знали официально, хотя малопонятные для меня слухи ходили. Но вот уже в конце 1943 или в начале 1944 года Первая бригада Польской Народной армии приступила к боевым действиям на одном из наших фронтов.

Первая школа

Началась осень 1943 года. После года простоя открылись свердловские школы. Мои сверстники пошли во второй класс. Мама тоже записала меня в школу, но поскольку в первом классе я не учился, то школьные учителя устроили мне испытание — какой-то диктант и решение простых задачек. Пришли к выводу, что во втором классе мне делать нечего, но для уверенного обучения в 3-м классе надо закрепить знания второго класса и лучше программу первой четверти третьего класса пройти опять индивидуально. У меня не было вообще навыков заниматься в школе. И, наконец, после ноябрьских праздников 1943 года я пришел в 3-й класс.

Школа № 9 была не очень далеко от дома, на углу площади 1905 года, между площадью и городским прудом. Это здание фундаментальной дореволюционной постройки и сейчас стоит там. Позже я узнал, что до революции в нём была гимназия. В здании был парадный вестибюль, но через него пускали в школу учеников не всех классов. Для тех, кто учился на третьем этаже, вход был откуда-то сбоку и далее — по боковой лестнице наверх. В классе была голландская печь, и два раза в день школьный истопник разносил по классам охапки дров. Учились в две смены. Наш класс учился в первую смену.

Школа была мужской. Это был первый год раздельного обучения мальчиков и девочек. Меня посадили за одну парту с Аликом Кабаковым. Наверное, об этом специально попросила учительницу моя мама. Алик был сыном врача Нины Фёдоровны Кабаковой из маминого госпиталя. Кабакова была самым близким маме человеком в этом госпитале, и хотя мама говорила что-то о её недостатках в работе (мама была очень требовательным начальником), всё равно Нина Фёдоровна была для мамы «своим человеком» и заведовала бывшим маминым отделением в госпитале.

Алик был славным и доброжелательным мальчиком. Дружба наших матерей, безусловно, создавала благоприятную почву для нашего с ним контакта. Мы оба всё знали про госпиталь, в котором работали наши мамы, про войну. У нас с ним были одинаковые семейные статусы: отцов в семье не было. Алик был уже опытным школьником. Он был на два года старше меня — пропустил вместе со всем классом целый год учёбы из-за закрытия школы, а я «перепрыгнул» через класс. Мне было 9 лет, а ему уже 11 — существенная разница в этом школьном возрасте!

Мы с ним сидели за партой, удобно стоящей в середине среднего ряда в классе. С этой парты всё было хорошо видно на доске и хорошо слышно. Вообще классы были удобными и какими-то приветливыми (здание старой гимназии!). Всё в школе было ново и интересно для меня. Потолки и окна были высокими, за окнами стояли деревья. Можно было наблюдать, как листья осыпались, ветки покрывались инеем, снегом, а потом снова листьями. Настроение было замечательным, и на уроках всё складывалось хорошо. Писать, читать, учить и говорить наизусть я умел, и с этим всё отлично получалось. Несколько труднее обстояло дело с арифметикой. Алик мгновенно и правильно решал все задачи. Мне же приходилось задумываться. Наша хорошая учительница учила нас перед решением задачи задавать себе вопрос или вопросы: что надо узнать в итоге и что для этого нужно сосчитать сначала, а что — потом. Например, если автомобилю нужно проехать до другого города 180 километров, а он отъехал от дома на 70 километров, и шофёр понял, что заблудился и вернулся на 12 километров назад, то сколько километров ему осталось ехать до цели? Алик сразу писал в тетрадке: $180 - 70 + 12 = 122$, а я начинал писать словами, как просила учительница: 1) Сколько оставалось проехать до города, когда автомобиль остановился? $180 - 70 = 110$ км. 2) Сколько осталось ехать, когда автомобиль вернулся назад на 12 км? $110 + 12 = 122$ км. В результате Алик решал все задачи быстро, но учительница часто ставила ему отметку не 5, а 4 за то, что он не записывал вопрос, на который он отвечал, а мне чаще ставила отметку 3 — за то, что я не успевал решить все задачи, пока выписывал все вопросы словесно. Так было в первые два дня, когда она нам диктовала контрольные задачи. Как известно, во время контрольной

работы даётся два варианта: один вариант пишет тот, кто сидит за партой слева, а другой вариант — тот, кто справа, чтобы не списывали друг у друга. Алик решил наши трудности просто и радикально: мы стали вместе решать оба варианта. Я был ответственным за «литературную», т. е. словесную часть задач обоих вариантов: формулировал вопросы, а Алик отвечал за цифры. В результате мы стали оба на контрольных получать пятёрки... Однако ухищряться для скрытного обмена данными приходилось изрядно. В конце концов, учительница пресекла эту «кооперативную деятельность». Алику она стала чаще ставить пятёрки, он продолжал соображать быстро, ну а я не всегда с трудом дотягивал и до четвёрки. Основным моим недостатком оставалась медлительность в вычислениях.

Алик Кабаков. Судьба детей войны

У Алика и его младшего брата Вили отца в это время уже не было. Если не ошибаюсь, он ушёл из семьи, но возможно потом пропал на фронте. Так или иначе, отца не было. Вили был года на два младше Алика. Мать растила их двоих на невысокую зарплату начальника отделения госпиталя. Но главной трудностью было не это. Хуже было то, что по условиям напряженной работы в госпитале мама Алика и Вили приходила домой поздно, в темноте зимних ночей. Жили они в старом деревянном доме, где-то в глубине кварталов за площадью 1905 года. Дом был без всяких удобств. Ребятам приходилось по два раза в день топить печи. Таскать зимой воду из колонки, стоявшей на улице. Самим «отоваривать» карточки в магазине, самим что-то готовить на керосинке. Бегать в уборную — на мороз на улицу.

Дважды я был у Алика в гостях не в самую плохую погоду, а когда на улице уже было тепло. Растаяли сугробы и полудеревенская (хотя и в городе) улица стала более или менее проходима, т. е. без потоков воды и без сезонной грязи. Их с братом героический быт меня ужаснул. Уроки для школы им приходилось готовить «во вторую очередь». В первую очередь приходилось вдвоём бороться за выживание. Кроме «рутинных» обязанностей по поддержанию жизни им приходилось ещё ремонтировать рамы и стёкла, чинить крыльцо и ступени, делать уборку. Это я сам видел. А крышу кто чистил от снега и ремонтировал? Не знаю...

Алик увлекался чтением журнала «Техника молодёжи» и ещё каких-то популярных журналов или брошюр с техническим уклоном и здорово, для нашего возраста, разбирался в технических вопросах. Он ещё и Вилю опекал: все-таки он был старшим! Конечно, он недосыпал: занимался любимым чтением по ночам. Естественно, оба они недоедали. Не помню, как они отдыхали в летние месяцы?..

Я предложил Алику: «Давай я буду приходить к тебе помогать топить печку и ещё что-нибудь делать!». Но Алик ответил: «А зачем тебе это нужно? Я сам быстрее всё сделаю, а тебя ещё обучать надо. Я больше времени потрачу. А если что — Вилька поможет».

Через год после начала нашего знакомства и учёбы за одной партой я уехал из Свердловска в Москву и навсегда расстался с Аликом и Вилей. Моя мама поддерживала связь по переписке с их мамой, доктором Кабаковой. Алик в конце войны или сразу после неё заболел туберкулёзом. Этого можно было ожидать на фоне его образа жизни. В послевоенные годы по Советскому Союзу «гуляла» туберкулёзная инфекция. Годы жизни «на износ» в условиях недоедания, авитаминоза, недосыпания и антисанитарии, в каких жили братья Кабаковы, не могли пройти без последствий.

Алик и Виля стали студентами в 1950-е годы. Алик лечился от туберкулёза, но противотуберкулёзная медицина в 40-е годы, когда его болезнь «разгорелась», была далеко не всесильной. Специальных анти-туберкулёзных антибиотиков в те годы ещё не было. В результате Алик Кабаков (наверно, он был Александром) не дожил до 30 лет. Точно я не помню, ибо в конце пятидесятых годов я три года жил в Ленинграде, а моя мама оставалась в Москве, и скупая информация, которая была у неё, доходила до меня с задержкой и в неполном виде.

Больница инвалидов Отечественной войны

Летом или осенью 1943 года Эвакогоспиталь № 1705 преобразовали в Больницу инвалидов Великой Отечественной войны. Раненых, ставших инвалидами, в стране накопилось столько, что вместо военизированных госпиталей с начальниками и замполитами (заместителями начальников по политической части), потребовалась специальная система больниц для бывших солдат и офицеров, ставших инвалидами и не годных к службе в армии. Начальник госпиталя превратился в Главного врача больницы. Больница стала гражданской. Такие больницы были организованы по всей стране.

Маму назначили главврачом больницы, сформированной на базе госпиталя № 1705. Мама очень гордилась тем, что ей удалось осуществить свою идею — организовать при больнице мастерские для обучения инвалидов разным ремёслам. Главное было добиться выделения Минздравом СССР специальной ставки или нескольких ставок для найма начальника мастерской и мастеров. При этом эти служащие набирались из тех же инвалидов, бывших пациентов больницы. Было выделено специальное помещение, где обучали делать разные поделки из жести. Я туда ходил и мне показывали, как делать бидоны из жести от больших американских консервных банок.

В таких банках в госпиталь, а потом в больницу, привозили сухое молоко (порошок) и яичный порошок. Изготовление двух- или трехлитровых бидонов было непростой работой. Основной задачей было делать прочные и красивые швы, сшивавшие лист жести в цилиндр, и другие швы, которые прикрепляли дно к этому цилиндру. Эту работу делали с помощью специальных молотков. В мастерской стоял грохот от ударов молотками. Требовалась сноровка и определенная сила удара. Мне, девятилетнему мальчишке, это ещё было не с руки (или не по плечу), да и грохот меня оглушал, и я больше туда не ходил. Были ещё при мастерской мастер-переплётчик и мастер-часовщик. Я брал у них уроки вместе с инвалидами, лежавшими в палатах. Мастера ходили в белых халатах по палатам и обучали желающих прямо на больничной койке. Но это, скорее, фигуральное выражение, потому что, конечно, надо было заниматься таким ремеслом за столом, хотя, как правило — прямо в палате. Я, вместе с больными, прошел весь цикл обучения переплётному делу, а затем курс разборки и сборки будильников и замены деталей в них. Мастер-часовщик выдал мне справку с подписью и печатью об окончании курсов. Такую же справку предлагал и переплетчик. Он говорил, что с этой справкой меня могут взять на работу (когда подрасту немного). Для получения справки надо было выполнить самостоятельную работу. Какую-то работу я выполнил. Сам я был не очень доволен видом сделанного мною переплёта. Мастер сказал: «Ничего, поработаешь — получится. Но нужно купить тиски и резак, чтобы всё было своё». До покупки этих инструментов дело не дошло. Их надо было покупать где-то, что было уже под силу только взрослым. В общем, переплётчиком я не стал. Так же как и часовщиком не стал, но получил полезное представление о ремёслах.

Посещая палаты с инвалидами, я познакомился с симпатичным дядей, его называли полковником. Он был тяжелобольной, «спинальник», то есть у него был поврежден позвоночник, и он не мог вставать. Он сам подозвал меня к себе, расспрашивал о чём-то, наверное, о моих интересах, о школе. Он предложил мне научить меня делать кораблики из бумаги. Это было интересно, и я согласился. Он научил меня делать два типа корабликов. Условно для себя я назвал их: треугольные и квадратные. Треугольные легко превращались в шляпу-треуголку. Для корабликов лучше было использовать небольшой лист бумаги, тогда кораблик получался аккуратным и прочным. А для шляпы лучше было использовать целый газетный лист, тогда получалась настоящая шляпа-треуголка, и я носил такие шляпы летом для защиты от солнца. «Квадратные» кораблики получались с двумя трубами, и их же можно было превращать в надутую голову чёрта с ушами-рогами и потом раскрашивать. Я не запомнил внешнего вида этого дяди, хотя посещал его несколько раз. Помню только, что у него был «обычный» мужской голос, не тенор и не бас. Вспоминаю, что он разговаривал и занимался

со мной с удовольствием, и мне он тоже был интересен, хотя я несколько стеснялся его. Я не знал, что мне ему рассказать, не находил тем для разговора, и ему приходилось слова из меня «вытягивать», а уж спрашивать его о чём-то я тем более не догадывался. Наконец, на четвертый или пятый раз я уже придумал заранее, о чём с ним поговорить и пошёл в его палату. Но меня остановила сестра или нянечка и сказала, что к нему нельзя. Он себя плохо чувствует, и у него врач или врачи. А на следующий день та же санитарка мне лаконично ответила: «Его ночью увезли». — «Куда?». — «Не знаю». Я заподозрил плохое и вскоре окольными путями узнал, что в ту ночь он умер.

Позже, когда мы в школе «проходили» «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, я прочёл о полковнике Воропаеве, персонаже книги, лежащем раненном полковнике, который воспринимался героем книги, летчиком Мересьевым, как «Настоящий человек». Бездёжно больной полковник научил Мересьева не покоряться судьбе и вселил в него веру в себя. Читая это, я всё время помнил о «моём» полковнике, научившем меня делать кораблики и показавшем, что и прикованный к постели человек живёт и несёт добро людям.

Летчик Мересьев был для меня тоже не абстрактным книжным героем. Я познакомился с подобным (хотя и не таким героическим) человеком. Им был лечившийся в госпитале, а затем в Больнице инвалидов войны, симпатичный юноша Алексей Данилкович (Данилкович — это фамилия, а не отчество), если я вообще правильно запомнил корень его фамилии. Дело в том, что позднее, на биофаке Московского университета я учился в одной группе с Ниной Данилкович, белорусской девочкой из партизанского отряда, и её фамилия «наложилась» в моей памяти на фамилию Алексея.

Алексей, Алёша, как я звал его на протяжении пяти лет нашего знакомства, был на 9 или 10 лет старше меня. Он был ранен на фронте, и у него ампутировали одну ногу, голень, а колено сохранилось. Ему было в 1944 году всего 19 лет (!), и он был полон жизненных сил и желания не быть инвалидом. Он лежал в «мамино» госпитале № 1705, затем в Больнице инвалидов войны. Когда мама с энтузиазмом организовывала мастерские «трудотерапии» при больнице, он стал главным организатором мастерской по изготовлению самодельных протезов для ног. Дело было в том, что существовали государственные протезные мастерские, протезные заводы и даже Институт протезирования Минздрава РСФСР. В этих мастерских и на этих заводах делали солидные, из кожи и металла, протезы. Они были массивными, и носить их было нелегко. Кто был изобретателем, я точно не знаю, но Алексей стал собственноручно изготавливать в больничной мастерской в Свердловске лёгкие протезы из папье-маше, с минимальным количеством дюралюминия. Себе он сам сделал такой протез и легко и непринуждённо

ходил на нём, без всякой палочки. Трудно было поверить, что ниже колена у него протез вместо ноги. Мама назначила его начальником этой протезной мастерской, а он продолжал быть пациентом этой больницы. Он был родом из Белоруссии, которая в 1943 и даже в 1944 годах ещё была оккупирована немцами, и податься ему без ноги было некуда. А для протезной мастерской при больнице он был незаменимым человеком. О его замечательном характере и жизненном примере, и о моей дружбе с ним в 1944–1948 годах, я расскажу чуть позже, в календарном порядке. А сейчас продолжу рассказ о событиях зимы 1943–44 годов и лета 1944 года.

Зима 1943–44 и лето 1944 годов. Продовольственная экспедиция

Зима 1943–44 годов была для нас легче, чем две предыдущие военные зимы. Прежде всего, настроение было лучше, потому что в войне наступил перелом. Красная Армия больше не отступала. Наоборот, линия фронта не быстро, но всё же неуклонно двигалась на запад. В тылу ощущалась помощь союзников. Я уже писал об американском яичном и молочном порошках, когда-то позже я узнал и об американских консервированных сосисках в больших банках. Сосиски были квадратными на поперечном разрезе («в сечении»), так как плотно упаковывались вертикально в вертикальных консервных банках и были солёненькими, потому что в банках была солёная консервирующая жидкость. Много позже, в 1970-х годах мы узнали, что в военные годы для снабжения Англии, СССР и других стран, которым помогала Америка (США), американцы широко использовали нитриты как консерванты. А в 1960-е годы их же, американские учёные доказали, что в таком количестве, как их использовала американская пищевая промышленность, нитриты (калиевые и натриевые соли азотистой кислоты) вредны для кишечника людей, ибо являются мутагенами и потенциальными канцерогенами. Но во время войны этого не знали, и главной задачей было сохранить консервы без холодильников и довести их из Америки через Атлантику до СССР.

В 1943 году (а может быть на год раньше) я увидел своими глазами людей, эвакуированных по ледяной «Дороге жизни» из заблокированного немцами Ленинграда. Сначала я слышал рассказы о том, что эвакуированные люди истощены, и у некоторых даже настолько изменилось сознание, что они всё время запасают куски хлеба и объедки на случай, если завтра им не удастся поесть. А затем я сам увидел такую женщину в столовой госпиталя. Она ходила между пустыми столами, за которыми уже поели раненые, и тщательно собирала для себя в мисочку все хлебные крошки и все объедки.

В декабре 1943 года состоялась «экспедиция» врачей Больницы инвалидов войны за продуктами в Тюменскую область. Её организовал Пётр

Сотников, пациент этой больницы, только что получивший документы инвалида Великой Отечественной войны и освободившийся таким образом от необходимости снова идти на фронт, чего он и хотел избежать. Я хорошо запомнил его имя и фамилию потому, что мама о нём часто говорила, а потом познакомила меня с ним. Но ещё больше он запомнился, потому, что организовал эту знаменитую экспедицию. Несколько врачей, в том числе мама и Кабакова, отправились с ним на больничной грузовой (газогенераторной) машине в деревню Тюменской области к его родителям. Где-то в конце пути им пришлось пересаживаться из машины в сани и ехать по непроезжей для машин снежной дороге. В деревне они переночевали и вернулись в Свердловск с огромным по нашим понятиям количеством продуктов: ошипанных и замороженных кур, масла, сала, солёных огурцов, грибов груздей и ещё чего-то. Для нескольких семей врачей и для больничной столовой это был замечательный подарок к Новому году. Примечательно, что в годы, голодные для западной части страны, прифронтовых и освобожденных от немцев районов, в зауральской глубинке сохранялись сытые сёла.

Я специально упомянул газогенераторную машину. Перед войной и во время войны советская промышленность выпускала грузовики «полторки» (1,5 тонны) марки ГАЗ и «трехтонки» ЗиС»ы. В войну появились и УралЗиС»ы, которые делали в городе Миасс Челябинской области. Туда эвакуировали московский автомобильный завод им. Сталина (ЗиС). В первые годы войны все эти грузовики были основными грузовыми машинами Красной Армии. В 1943 году стали появляться американские «Студебеккеры», более мощные и надёжные грузовики повышенной проходимости. К концу войны, весной 1945 года «Студебеккеры» стали массовой армейской фронтовой машиной. А газогенераторные полторки и трехтонки были чудом советской техники. У передних углов кузова, по обе стороны кабины шофёра ставились большие колонки-топки. Они наполнялись дровяными чурками. Эти чурки поджигались и подвергались возгонке, в результате которой получался газ, который и служил горючим для автомобильных моторов. Система эта была капризной и требовала терпения и искусства шофёра. Но главным преимуществом таких грузовиков было то, что они нуждались в малом количестве дефицитного для военного времени бензина.

Какое-то небольшое количество бензина, кажется, требовалось для поджига чурок и бралось на всякий случай. Такая полторка всегда стояла на хозяйственном дворе госпиталя, через который я иногда проникал в госпитальное здание. Я помню, что пожилой шофёр много возился с ней, чинил и налаживал и, естественно, ругался. Грузовик этот был жизненно важным для госпиталя. На нём можно было доставлять хлеб и продукты для кухни и столовой. А вот была ли в госпитале лошадь с телегой для этой же

цели — не помню. Должна была быть, ибо «полуторка» периодически стояла на ремонте, а продукты, особенно хлеб, доставлялись каждый день. Лошадь с телегой была обычным довоенным транспортом.

После Нового, 1944 года наш класс стал учиться во вторую смену. Это имело определённые преимущества: домашние задания можно было делать на свежую голову, и не нужно было идти в школу в утренней морозной темноте. Но была и потеря одного романтического удовольствия. Удовольствием для меня были утренние дежурства по классу, когда мы ещё учились в первую смену. Дежурили по два ученика. Нужно было прийти в школу за час до первого урока, то есть к 7.30 утра, и растопить печку-голландку. Дрова, как я уже упоминал, разносил истопник. Может быть, он и огонь в печке зажигал? Не помню. Но следить за печкой и поддерживать огонь было обязанностью дежурных по классу. Тут начиналось добровольное соревнование. Заслугой среди ребят считалось прийти раньше положенного срока и завладеть процедурой топки печки. Интересно и романтично было сидеть в морозное и тёмное зимнее утро перед дверцей печки и о чём-нибудь разговаривать с ребятами. Нередко у печки перед началом уроков собирались и другие ребята, помимо двух обязательных дежурных. Работающие мамы уходили из дому рано и отправляли детей в школу пораньше. Помню, я приходил к 7 часам утра: мама и бабушка всё равно вставали рано, и мама к 8 часам утра уже всегда была на работе. Ну а я опрометью бежал в школу раньше обязательного срока, когда было моё дежурство. Но не велик был «героизм»: при 25–28 учениках в классе дежурить приходилось не чаще двух раз в месяц.

Ранней весной 1944 года по радио рассказывали о нашем наступлении в Бессарабии. Говорили о боях с целью окружения немцев где-то в тех местах. Я уже знал тогда, что Бессарабия — это территория, принадлежавшая СССР до 1939 или 1940 года, а Молдавия — это республика СССР, появившаяся после 1939 или 1940 года. Затем нам объявили о выходе Красной Армии на румынскую границу, а ещё раньше — об освобождении Крыма. Ленинград был освобожден от блокады в начале 1944 года.

Наступило лето 1944 года. Тут я зачастил в магазин на улице Малышева, за рекой Исеть, довольно далеко от дома, где продавались коллекционные марки. Я купил там и собрал коллекцию марок немецкой техники 1930-х годов: тепловоз, электровоз, какие-то машины. Может быть, коллекция была неполной, не помню. А ещё у меня была коллекция портретов Гитлера! Я удивлялся, что эти марки разрешалось продавать у нас в Советском Союзе во время войны с Гитлером. Но Гитлер был настолько очевидным врагом, что, по сути, отсутствие запрета на марки с его изображением было разумным. Опять же: «Врага надо знать в лицо», — известный политический лозунг тех лет. Не менее ценным с познавательной точки зрения был пода-

ренный мне мамой стандартный альбомчик, размера А3 с надписью крупными типографскими буквами синего цвета: «Почтовые марки, выпущенные во время Великой Отечественной войны». Он продавался с наклеенными в него марками. Там была серия марок с портретами героев Советского Союза и картинками, изображавшими их подвиги (Александра Матросова, Шуры Чекалина и других); лётчиков Гастелло и Талалихина, совершивших воздушные тараны; серия марок с орденами и медалями, учрежденными во время войны, и ещё марки из серий «Тыл фронту» и «Смерть немецким оккупантам», почему-то без восклицательного знака в лозунге). Этот альбомчик я подарил сыну Андрею, когда он достиг восьми лет. А серию марок с Гитлером я подарил одному из своих наставников в генетике в конце 1960-х годов. Это — специальный рассказ. Его не стоит вставлять в данное повествование, так как он требует непростых разъяснений.

В 1944 году вышел на экраны французский фильм «Три мушкетёра». Он пользовался колоссальным успехом, и все мальчишки стали фехтовать на самодельных деревянных шпагах. Мама получила для меня путёвку на один из летних месяцев в детский санаторий в дачном посёлке Шарташ в окрестностях Свердловска. Я там оказался самым старшим в большой палате и быстро организовал команду «мушкетёров». Деревянные «шпаги» мы прятали за голландской печкой в нашей палате и тайком от воспитательницы азартно фехтовали, прыгали со шпагами через кровати, вскакивали на подоконники и выпрыгивали из окна первого этажа. Срок моей путёвки незаметно подошел к концу, я уехал в город, а через некоторое время заехал в санаторий в гости, навестить приятелей. Мне уже было 10 лет, и я смело ездил на трамвае, а он подходил близко к санаторию. Я нашёл в своей палате двух-трех своих приятелей, оставшихся на следующую смену. У них был удручённый вид, и они скучали. Оказалось, что воспитательница отняла у них все шпаги и пригрозила досрочной выпиской из санатория за «нарушение порядка». Я расспросил их о том, как без меня развивались события, и авторитетно заключил, что они нарушили мои инструкции о бдительности и конспирации.

В то же лето 1944 года ребята из нашего двора звали меня поехать на конечную остановку трамвая около завода «Уралмаш» — посмотреть на большую свалку немецких (а может быть и советских?) разбитых танков. Танки привезли туда для переплавки. Но кто-то из ребят постарше посоветовал не ездить. Там «уралмашевские» могут ограбить и «морду набить»: это их территория. Но вместо несостоявшейся поездки на танковую свалку я несколько утолил своё желание побродяжничать и любознательность к внешнему миру тем, что в жаркий летний день, какие бывают на Урале, потолкался самостоятельно на одном из рынков. Там я видел инвалидов войны в гимнастёрках, просящих милостыню. Познакомился и с детской

предприимчивостью: мальчишка чуть постарше меня, десятилетнего, стоял с железной кружкой, продавал сырую воду из ведра и выкрикивал: «Кому холодной воды напиться! Двадцать копеек стакан, на рубль — досыта!». «Вот это мастер», — сообразил я: нешто кто «на рубль» сможет пять стаканов выпить?!

Ещё надо вспомнить, что в 1943 году к нам снова стала приходить домработница Рая, небольшого роста, сухоощавая, темноволосая и курносая женщина средних лет. Она убирала квартиру и гуляла со мной ещё до войны. Рая была из семьи сосланных на Урал то ли кулаков или, скорее, староверов — не помню. Обе эти категории были мне тогда непонятны. Понятно было только то, что раньше её родители жили где-то в другом месте (и она с ними), а при советской власти оказались изгоями на Урале. Рая где-то работала, а у нас подрабатывала. Она была очень преданной и честной работницей.

В мой рассказ нужно также вставить воспоминание о моём друге тех лет. С ним мы любили возиться и в шутку драться дома, в кабинете на диване, покрытом моим любимым туркменским ковром коричнево-красной расцветки, геометрического рисунка с голубыми ромбами. Этим другом был пёс Джек «дворянской» породы, небольшого размера («калибра» бульдога или боксёра, но с нормальной мордой), бело-черного окраса и весёлого нрава. Гулять он обычно ходил с Раей, реже — со мной, но приходил иногда домой один: царапал дверь, и его пускали. Он был с ошейником, и это в те годы считалось признаком того, что он «чей-то», то есть домашний. Хотя оставлять его одного на улице было рискованно, так как в городе существовали «собачники»: бригада людей, которые ездили на телеге с большой будкой и ловили бездомных собак. Ловить собак с ошейниками они «не имели права», но, говорят, как раз за ошейник-то им и удобно было ловить собак длинными крюками. Я этих собачников и их крюки с ужасом и отвращением сам видел. Говорили, что пойманных собак они отдавали на бойню и потом из их костей варили мыло. Собачники существовали до войны, а потом снова появились в 1944 году — признак возрождения довоенной жизни.

Осень 1944 года. Переезд в Москву

Начался новый учебный год. Настроение было хорошим, потому что Красная Армия неудержимо наступала на всех фронтах. Я знал названия всех фронтов в том и в следующем 1945 году (и помню до сих пор). Знал фамилии и воинские звания всех командующих фронтами. Горевал по поводу гибели двух талантливых командующих: командующего Первым украинским фронтом генерала армии Ватутина, освобождавшего Киев (он был убит вскоре после этого, кажется, украинскими националистами) и молодого

генерала армии Черняховского, командовавшего Третий белорусским фронтом и погибшего при неизвестных нам тогда обстоятельствах на территории Восточной Пруссии. Осенью 1944 года советские войска воевали в основном за пределами СССР: в Польше, Словакии и Венгрии. В это время Румыния и Финляндия вышли из войны и заключили перемирие с СССР. Однако ещё шли бои на самом западе Литвы, в районе Клайпеды.

Я с удовольствием ходил в школу. В это время разворачивались события, существенно изменившие жизнь нашей семьи. Началось с того, что профессор Василий Дмитриевич Чаклин покинул пост директора Свердловского института ортопедии и травматологии и уехал в Москву. В Свердловске скончалась его жена (с которой дружила моя мама). Чаклин женился на бывшей жене народного артиста СССР, певца Ивана Семёновича Козловского. Чаклин переехал в её московскую квартиру и начал работать научным консультантом Института протезирования в Москве. На освободившуюся должность директора института в Свердловске назначили моего отца, Фёдора Родионовича Богданова. Одновременно он оставался главным хирургом Уральского военного округа и носил звание подполковника медицинской службы. Всё это сначала никак не влияло на нас с мамой. Но вот вышло распоряжение Наркомата здравоохранения подчинить Больницу инвалидов войны Институту ортопедии и травматологии. Такие же слияния проходили в Москве и, скорее всего, в других городах СССР. Больница инвалидов войны, в которой мама была главным врачом, оказалась в подчинении моего отца, разведённого с ней. Отец тут же начал наводить в больнице некоторые новые порядки. Как говорила мама, он специально отменял некоторые правила, введённые ею, вводил свои и открыто заявлял, что хозяин теперь — он. Психологически отец и мать были изначально недостаточно совместимы, а в новой ситуации противоречия обострились. Мама приняла решение уходить с этой работы и возвращаться (через 13 лет!) в Москву. Она говорила, что решила не работать с моим отцом сразу же, как только узнала о его назначении на директорский пост, а первое служебное столкновение лишь убыстрило этот процесс. Она позвонила в Москву своему старому хорошему знакомому по работе в ГИФО Приданникову. Он в 1944 году и довольно долго после этого был начальником Московского городского отдела здравоохранения при Исполкоме Моссовета. Мама была с ним «на ты», рассказала ему о ситуации и попросила найти для неё подходящую работу в Москве в его подчинении. Они хорошо знали стиль работы друг друга и, как говорила мама, полностью друг другу доверяли. Приданников немедленно отозвался и помог маме.

В это время бабушка, мамина мама, была уже очень измождённой и слабой. Как раз накануне решающих событий мама положила её к себе в больницу подлечить. Бабушка лежала в той самой одноместной женской



С мамой в свердловской квартире. 1944 год.

палате, в которой в 1941 году лежала Ирма Дмитриева. За несколько дней до ноябрьских праздников 1944 года я посетил бабушку в этой палате, попрощался с ней. Молодому поколению напоминаю, что 7 ноября называлось «Днём Великой Октябрьской социалистической революции», 8 ноября было тоже праздничным днём. Оба дня отмечались в календарях красным цветом. Мама оставляла бабушку на попечение своих друзей-врачей. Особенно преданной маме была медицинская сестра Фрося (до сих пор помню её лицо). Мама получила разрешение на железнодорожный контейнер или вагон для домашней мебели и пронаблюдала за погрузкой. Вот тут ей снова помогал Пётр Сотников, который женился на симпатичной девушке Лане, поселился в Свердловске и устроился на какую-то работу. Мама заранее купила билеты на поезд в Москву для нас с нею.

У мамы в те дни было тяжёлое настроение. Её жизнь приняла трудный оборот — она расставалась со своей слабенькой и больной мамой, моей бабушкой, с устоявшейся жизнью, с замечательным коллективом госпиталя-больницы, в создание которого вложила свою душу, умение и добросовестность врача классической школы (см. прощальный «Адрес» в Приложении) и ехала, обременённая заботой обо мне, начинать новую жизнь в Москве.

Когда я помещал в текст фотографию мамы, сделанную в 1940 году, то обратил внимание на мамины глаза на этом снимке. Посмотрите на ту фотографию (фото в рассказе о 1940 году), посмотрите на глаза мамы, сидящей со мной на диване перед отъездом из Свердловска (1944 год). Сравните эти глаза с глазами мамы на photographиях, сделанных в годы начала замужества, когда её жизнь расцветала. Мама позже говорила мне о последних годах жизни в Свердловске: «Если бы ты знал, что мне пришлось перенести...». Я,



Мой отец занял тот кабинет, в котором раньше работала мама. Кабинет главврача больницы В. Я. Тарковской стал кабинетом директора Института ВОСХИТО Ф. Р. Богданова. На снимке он со своим многолетним секретарем-референтом Марией Ювенальевной. 1950 год.

счастливый мальчишка, конечно, не мог оценить глубины смысла этих слов. Просто запомнил их.

Для въезда в Москву требовалось специальное разрешение (пропуск). Тут снова помог Приданников, прислал вызов. За день до праздника, то есть 6 ноября, мы с мамой вдвоём выехали в Москву (а 5 ноября был день рождения Витуськи, о чем мама мне никогда не говорила...). Тогда поезда из Свердловска в Москву шли двое суток. Путешествие было для меня, конечно, интересным, и 8 ноября, уже не помню, как и на чём, мы с Казанского вокзала в Москве приехали, опять же не помню куда, но, пожалуй, сначала к тёте Шуре. Я стал москвичом.

Во время войны в Свердловске слово «москвич» было кличкой, употреблялось для обозначения эвакуированных людей, и среди дворовых ребят часто использовалось с презрительным оттенком. В этом случае кличка «москвич» приравнивалась к столь же презрительной тогда кличке «еврей». Позволяю себе писать о таких вещах, потому что это тоже часть нашей российской, советской истории и часть моей детской жизни.

А Джек? Мама заявила, что Джека невозможно везти на поезде, и он останется с Раей. Рае я доверял и согласился. Потом, через два года, когда я снова приехал на летних каникулах к отцу в Свердловск и разыскал Раю, она сказала, что пристраивала Джека к каким-то знакомым людям, но он сбежал и, по-видимому, плохо кончил...

О чувствах. Беседа с читателем

Одной из первых прочла эти воспоминания моя добрая знакомая. Историк искусства, знаток живописи, архитектуры... О литературе мы с ней говорили меньше, но она, безусловно, знает классическую литературу и поэзию лучше меня. Её суждение о том, что и как я написал, было для меня важным. Она прочла, и между нами состоялся такой разговор.

— Ну, что ты пишешь! Зачем ты в личных воспоминаниях пишешь, что была оборона Москвы, что был Сталинград? Все это знают! Надо было писать о своих чувствах, о том, что ты испытывал!

— Пишу не только для людей нашего с тобой поколения, но и для моих внуков.

— Они могут прочесть об этом в книгах, в учебниках. Пиши о том, что сам видел. Я видела, как горит станция Бологое, когда нас эвакуировали на поезде из Ленинграда. Все было в огне, было страшно!

— А мой внук, когда ему было лет 12, и мы ехали на машине из Москвы в Звенигород, удивился моим словам, что в деревне Аксиньино стояла немецкая разведывательная рота: «Какие немцы? Когда это было?». Пришлось рассказывать, что это было осенью 1941 года, и фронт проходил вот по этому болоту, между Николиной горой и Аксиньино, через которое мы сейчас едем.

— Но он мог бы прочесть об этом где-то! А ты бы рассказал ему о том, что ты делал в это время и что переживал. Мы в нашей школе, в эвакуации, в Костроме ставили спектакли, в которых изображали то, что мы могли изобразить, играли и «наших» и «немцев»!

— Дети сейчас, увы, всё меньше читают.

— Надо их воспитывать, чтобы читали.

— Я думаю, живое слово деда о событиях важно. Я помню рассказы тех, кто пережил Гражданскую войну. Их живые слова запомнились мне на всю жизнь. Вот и я показал внуку место, где проходил настоящий фронт, когда я был мальчишкой школьного возраста, и где мы часто бываем сейчас, и считаю такой живой рассказ таким же важным, как ответ на вопрос: «Скажи-ка дядя, ведь не даром Москва, спалённая пожаром...».

— Но надо писать о своих чувствах, мыслях, а не просто о том, о чём можно прочесть в учебнике истории.

— Дело в том, что эмоции присущи больше девочкам, чем мальчикам. Мальчикам интересно где, что и как было...

— Причём тут эмоции! Я тебе говорю о чувствах (!!) ...

Эти парадоксальные слова я запомнил дословно — они вырвались в пылу спора.

Весь наш разговор был темпераментным и азартным. Спор продолжался долго, и каждый остался при своем мнении, но я сделал некоторые выводы.

Во-первых, я решил напрячь память и постараться вспомнить о своих детских чувствах. Они, несомненно, были. А, во-вторых, подумал я, моя милая собеседница не только отчаянная спорщица, но и абсолютистка. Мы и раньше спорили с нею. Спорили и по более принципиальным вопросам, и абсолютизм её воззрений проявлялся часто.

Но вот, как-то раз, я услышал по радио беседу психоаналитика и психотерапевта доктора Александра Данилина,¹ в которой он говорил, как о давно установленном факте, что женщины и мужчины запоминают одни и те же события по-разному, и пересказывают их тоже по-разному. Женщины воспринимают всё более эмоционально и запоминают свои эмоции... простите, — чувства. Мужчины, в первую очередь, запоминают факты и ситуации. По прошествии времени женщины вспоминают, прежде всего, испытанные ранее чувства, мужчины — запомнившиеся факты. Вот вам и объяснение того, почему мы с моей собеседницей не могли прийти к согласию, и почему мне хочется описать войну так, как я её помню.

Однако я решил испытать себя на пригодность к писательскому труду и задал вопрос: помню ли я что-то о чувствах, которые, безусловно, должен был испытывать в детстве? «Помню», ответил я себе. Кое-что из того, что я вспомнил «по заказу», вставил в текст, который Вы, читатель, уже прочли (о радости по поводу валенок у красноармейцев под Москвой или о том, как мы ликовали, услышав слова диктора Левитана: «Наши войска соединились и замкнули кольцо окружения» под Сталинградом).

Такие счастливые дни бывали в военные годы редко. А в будни мои мальчишеские чувства поглощались фантазиями. Я воображал себя и лётчиком, идущим на таран (и обязательно спасавшемся на парашюте), и бойцом за пулемётом в окопе, который в одиночку выручал весь взвод и даже роту, и партизаном или подпольщиком. Я воображал себя ловким связным или минёром. Но все-таки коварные фашисты меня схватывали и сажали куда-то под замок, чтобы пытать потом... А друзья меня выручали или сам я убегал, и т. д. и т. п. А что чувствовал при этом — не помню!

Продолжаю свои воспоминания так, как они были записаны до этой незапланированной, поздней вставки. Тем, кто не может читать бесчувственно, разрешаю домысливать мой рассказ о событиях, используя свои или воображаемые «мои» чувства. Мне кажется, мемуары имеют право провоцировать к этому: пробуждать чувства, фантазии, домыслы.

¹ Радио России, программа «Серебряные нити». Программа примерно с 2008 года выходит по будним дням с 23:20 до 23:55 на первом канале Радио России.

Часть III

ЗАКОНЧИЛИСЬ 10 ЛЕТ ЖИЗНИ НА УРАЛЕ

Первая московская квартира

Мама получила в Москве должность, близкую к должности в Свердловске — начальника медицинской части Больницы инвалидов войны, которая находилась в Лефортове на Гольяновской улице (тогда этот район столицы носил официальное название «Сталинский район»). Название «Больница инвалидов» вскоре заменили названием «Госпиталь инвалидов». Через некоторое время госпиталь был перепрофилирован в Туберкулёзный госпиталь инвалидов войны и переведён на одну из Черкизовских улиц около Преображенского рынка. А в 1951 году мама перешла в другой, теперь уже Ортопедический госпиталь инвалидов войны, и он был сделан клиникой Центрального института травматологии и ортопедии (ЦИТО). Научным руководителем этой клиники был назначен... профессор Василий Дмитриевич Чаклин. К маме снова вернулось хорошее настроение. С Чаклиным у неё было взаимопонимание, оба они были ортопедами школы Вегнера. Чаклин занимался своей научной работой. Как говорила мама — сразу забирал в свой портфель все интересные для него истории болезней, рентгеновские снимки, фотографии больных с шинами на руках и ногах, и на этом материале писал руководство по ортопедии, руководил диссертантами. Он был бесспорным энциклопедистом и авторитетом в области ортопедии в те годы. Мама занималась чисто лечебной работой, снова оперировала и командовала текущими лечебными делами, работой врачей и медсестёр.

Приехав из Свердловска, мы сразу получили служебную квартиру прямо в здании больницы на Гольяновской улице, дом 4. Здание было построено в 1930-е годы специально для родильного дома. Когда началась война, там разместили эвакогоспиталь (население Москвы уменьшилось в результате эвакуации учреждений и заводов, уменьшилась численность мужского населения города, рождаемость сильно снизилась). В 1943 году эвакогоспиталь превратили в больницу инвалидов войны. Всё как в Свердловске, а точнее — как по всей стране.

Для нашей квартиры выделили часть отсека здания, где раньше было инфекционное отделение роддома. Оно располагалось в дальнем от главного входа крыле и имело свой отдельный вход с улицы. Он стал входом только в нашу квартиру. Квартира была небольшой, но довольно удобной для двух человек, по скромным меркам советского послевоенного времени. Располагалась она на высоком первом этаже (мама гордо говорила: бельэтаж). Заглянуть в окна с земли было невозможно. У нас было своё

крыльцо, к которому вело примерно десять ступеней, далее была крохотная прихожая, а из неё входящий сразу попадал в бывшую душевую комнату, сплошь обложенную кафелем (когда-то это был санпропускник приёмного покоя инфекционного отделения). В этом помещении был сохранен душ и сток воды прямо с кафельного пола, а около довольно большого окна была установлена газовая плита. Такого «чуда» техники, как газовая плита, я ещё не знал! В Свердловске наша плита топилась дровами. Кухня-душевая была довольно большой: не меньше восьми квадратных метров. Вход в туалет был где-то из прихожей. Из кухни можно было пройти в гостиную, площадью около 16–18 кв.м., с двумя окнами, а из нее — в две маленькие комнатки: комнатку без окна, размером около 3 кв. м. и комнату размером около 9–10 кв.м. с одним окном, узкую, примерно два метра в ширину. Вдоль длинной стены помещались только большой письменный стол, тот самый бывший стол К. Ф. Вегнера, которым я пользовался в Свердловске, и диван, на котором я спал, а в тёмном торце комнаты — мамин шкаф-гардероб. А мамина кровать стояла в упомянутой трёхметровой камерке. Дверь камерки была снята, и мама фактически спала в нише гостиной. Из гостиной был также вход в тамбур, который вёл далее в больничный коридор. Через этот тамбур мама входила в больницу. Мне было запрещено пользоваться им и входить в больничный коридор. Порядки в Москве оказались более строгими, чем в Свердловске.

Здесь я хотел бы вернуться к судьбе нашей квартиры в Свердловске. Она, как и подавляющее большинство квартир в те далёкие годы, была «горсоветовской» (теперь говорят — муниципальной). Её, как вы помните, получал на семью мой отец, став заведующим кафедрой в мединституте. К моменту нашего отъезда из Свердловска отец с мамой были официально разведены, и хозяйкой квартиры стала мама. Перед нашим с мамой отъездом в Москву отец просил маму вернуть ему право распоряжаться квартирой, но она не хотела ни о чём с ним разговаривать, — ведь она уезжала из-за него. Она сдала квартиру в домоуправление, получив об этом справку, которой сначала гордилась («Вот какая я честная, и государство должно это учесть и дать другую квартиру»), а под конец жизни вздыхала и жалела («Вот, что я сделала и что за это получила!»). Взамен она получила временную служебную (не муниципальную) квартиру, о которой я только что рассказывал, а потом «мосссоветовскую» комнату в коммунальной квартире. О ней будет речь позже.

Здание больницы стояло вдоль Гольяновской улицы. Между ним и проезжей частью улицы был большой газон-пустырь. За больничным зданием располагалась липовая роща и в ней довольно глубокий и длинный овраг, тоже заросший по склонам до самого дна большими старыми липами. По возрасту лип можно было судить, что овраг этот образовался задолго

до того, как выросли липы, а им тогда было не менее 50, а может быть и 100 лет. Овраг начинался на уровне нашего крыльца, шел параллельно больничному зданию (и Гольяновской улице) и открывался в пойму реки Яузы. Гольяновская улица начиналась от угла Госпитального вала и заканчивалась на пустыре, на берегу Яузы. (Так удобнее рассказывать, а на самом деле нумерация домов начиналась от Яузы.) Название улицы недвусмысленно говорило о том, что возникла она на голом месте. Это название не было уникальным. Оно общеупотребимо для Москвы и Подмосковья. В столице и сейчас, в XXI веке, есть целый микрорайон Гольяново, построенный в 1960–1970-е годы на месте деревни Гольяново в Восточном округе столицы, на Щёлковском шоссе.

Но вернёмся в 1944 год на Гольяновскую улицу и в пойму Яузы. Берега Яузы в этом месте только-только начали одевать в гранит и остановили эту работу с наступлением войны. По берегам ещё оставалась неухоженная «голь»: ухабы, канавы, поросшие травой и сорняками. Кое-где были вполне прилично выглядевшие травянистые берега. Эта, ещё не обустроенная (по городским понятиям) пойма тянулась от железнодорожного моста Окружной железной дороги и станции метро «Электrozаводская» (открытой в 1943 г.), через начало Гольяновской улицы и улицы Новая дорога, затем вдоль задней части Главного военного госпиталя им. Бурденко (бывший Лефортовский военный госпиталь Петра I) до Лефортовского парка. Тогда этот парк официально назывался Парком культуры и отдыха Московского военного округа. Дальше река текла в сторону Яузского шлюза и Андроникова монастыря, и шли уже более или менее ухоженные берега, в основном уже одетые в гранит.

Напротив нашего крыльца была одноэтажная хозяйственная постройка, принадлежавшая больнице. Часть этой постройки занимала конюшня и сарай для телеги на резиновом ходу. В конюшне стояла добрая кобыла. Я познакомился с конюхом и похвастался своим знанием, как запрягать лошадь. Если эта процедура происходила в моём присутствии, конюх охотно пользовался моей помощью: подай то, подай другое. Я владел терминологией и выполнял его просьбы с удовольствием. Вскоре после нашего поселения в больничном здании, кобыла ожеребилась. Событие произошло зимой в вечернее время, когда на улице было темно. Около конюшни раздались крики, кобыла громко ржала, конюх звал кого-то в помощь себе. Я услышал, и тоже сунулся было, но взрослые категорически запретили мне присутствовать, сказали: «Завтра посмотришь». Наутро мне показали очаровательного жеребёнка гнедой (как и его мама) масти. Через год, когда он вырос ростом со свою маму-кобылу, мне разрешили ездить на нём верхом на небольшой территории между конюшней, больницей и оврагом, а потом, когда его подковали, я сам стал выезжать на асфальт перед фаса-



На Гольяновской улице в Москве. 1945 или 1946 год.

дом больницы и на неухоженный газон вдоль Гольяновской улицы. Ездил я, конечно, без седла и стремян (их просто не было у конюха), но с уздечкой. Спина у жеребёнка была широкая, не то, что у лошадей на сенокосе в Чердынцеве: он был из породы тяжеловозов. Обхватить его бока моими детскими ногами было трудновато, но зато сидеть на широкой спине было своеобразным удобством, хотя и небезопасным. Я был горд и счастлив.

Первые дни после нашей жизни на Гольяновской улице мама подолгу возилась утром и вечером на кухне. Она сразу же призналась мне, что, к сожалению, не научилась у бабушки готовить, и теперь, в 44 года, ей приходится учиться этому самой.

Я изредка спрашивал маму, как там, в Свердловске, бабушка и когда она приедет к нам? Мама что-то мне отвечала, и по каким-то признакам я стал подозревать, что, скорее всего, бабушки уже нет в живых. Это предположение показалось мне настолько правдоподобным, что я вскоре перестал спрашивать. И только через год после нашего переезда в Москву, в ноябре 1945 года, мама сама заговорила об этом и с волнением сообщила мне, что бабушки уже нет в живых, и что исполнился год, как она умерла. Оказалось, что бабушка умерла перед нашим отъездом из Свердловска. Сначала у неё началось воспаление лёгких, а за два дня до нашего отъезда ночью началось падение сердечной деятельности. Медсестра Фрося, дежурившая около неё, вызвала по телефону дежурного врача и маму, но они ничего не смогли сделать. Мама похоронила бабушку утром 6 ноября 1944 года, а вечером мы выехали в Москву. Быстрые похороны организовал всё тот же Петя Сотников, да ещё Моложников, заведующий хозяйственной частью больницы, ставший заместителем директора института, объединённого с больницей, то есть заместителем моего отца.

Мама призналась, что боялась расстроить меня известием о кончине бабушки. Она сама переживала потерю бабушки очень тяжело. Позже

мама говорила, что её мама была для неё единственным близким человеком, с которым она делилась всем на протяжении своей трудной жизни. Переживания, вызванные потерей бабушки, были слишком тяжёлой нагрузкой для мамы, и она боялась подвергать меня таким же испытаниям. Мне кажется, что мальчики переносят потерю бабушек и дедушек «в среднем» не так тяжело, как девочки. Тем более не так, как их мамы и папы, которые теряют своих родителей. Я признался маме, что давно пришел к заключению, что бабушки нет в живых, и это её даже успокоило. Оказалось, что и у меня, и у мамы — скрытный характер. Мама вообще умела хранить при себе свои горести, и внешне это никак не сказывалось на её очень высокой работоспособности и жизненном тонусе. Она воистину была «железной леди». У отца, напротив, характер был довольно несдержанный: он был склонен делиться своими переживаниями с разными людьми. Это я узнал гораздо позже.

Знакомство с ребятами-москвичами

Через несколько дней после приезда в Москву, когда прибыла (и очень быстро!) наша мебель из Свердловска, и мы обосновались в квартире, я пошёл в новую школу и продолжил учиться в четвёртом классе. Снова, как и в Свердловске, я оказался самым младшим в классе. Однако высокий для моих 10 лет рост делал это незаметным. Но всё же меньший возраст по сравнению с одноклассниками сказывался в виде недостатка жизненного опыта и умения постоять за себя. Подавляющее большинство ребят в классе (напоминаю: школа была мужской) родились в 1933 году (некоторые — в 1932) и лишь Толя Шелухин и я — в 1934 году. В военные годы для ребят, перенёсших разные бытовые и семейные ситуации, возраст, конечно, определял реакцию на окружающую жизнь. В войну все выросли быстрее, но те, кто постарше, выросли быстрее младших.

Московская школьная среда оказалась гораздо более жёсткой, чем свердловская. В свердловской школе ребята были доверчивыми, я никогда не сталкивался там с хитростью, завистью, коварством («вредностью» по детскому определению). В московской школе я сразу почувствовал все эти иногда неприятные проявления. Правильнее будет сказать, что среди москвичей (детей и взрослых) процент людей с «жесткими» характерами и стилем поведения был существенно выше, чем в провинциальном Свердловске. В том числе и по этой причине кличка «москвич» была в Свердловске ругательной кличкой.

В школе у меня появилось два врага: Эдик Химач и Завалишин (имени не помню). Первый был в параллельном классе, второй — в нашем. Их просто раздражал мой вид и, очевидно, мой мягкий характер. Я никогда не был задирой.

Они были типичными задирами, и таким нужны «мальчишки для битья». По разу на меня нападали и тот, и другой. Эдик как-то налетел на меня сзади по дороге в школу. Дал по уху и удрал. Второй раз это произошло через год в пионерском лагере. Тут я уже подросток, подучился московским манерам, и нам пришлось «стыкаться», драться «до первой крови» в кругу зрителей. Нос у меня был всегда слабым местом, в детстве кровь из носа иногда шла безо всяких причин. Поэтому после двух ударов в нос, когда я ещё был полон сил и желания драться, у меня из носа пошла кровь и драка была «по правилам» остановлена зрителями. Я продолжал злопыхать, но после драки кулаками не машут: надо было «укреплять нос» раньше. Однако с тех пор Химач ко мне не лез. Завалишин тоже действовал исподтишка, но его сдерживали мои защитники. В классе у меня появился надёжный товарищ. Его фамилия была Курганов. Имени опять не помню. Он был года на два старше меня и мудрее. Из-за войны, эвакуации, временного закрытия школ нередко в одном классе собирались ребята с разницей в два года, а в нашем классе учились два брата Тыренко, Стасик и Эдик, разница в возрасте у них была, мне помнится, больше двух лет. Один из них был «второгодником». Было такое понятие в те времена.

Чтобы закончить тему школьных взаимоотношений, расскажу о моей второй драке (всего-то две драки за школьную жизнь!). Это «дело» было уже в седьмом классе. Я первый обидел одноклассника К. (скрываю фамилию, дабы не оскорблять вторично). Он, конечно, был не слишком вредным, но примитивным, и чем-то мне надоел. Я его обозвал как-то, он оскорбился и бросил мне вызов «стыкаться». Рассчитывал, что я струшу. Но я уже освоился с нравами, повзрослел и даже с удовольствием принял его вызов: «Пойдём на улицу». В школе попадаться на глаза учителям в момент драки было нельзя. За это карали «двойкой» по поведению, занесением в «чёрный список», могли перевести в другой класс — порядки в те годы в школе были строгие. Дрались снова по правилам «до первой крови». Вообще-то это были самые мягкие правила: подумаешь — разбитый нос! К. был на голову ниже меня, и руки у него были короче. Я предвкушал победу, и ему уже досталось больше, чем мне, но разок он попал мне в нос и, конечно, пошла кровь. Я хотел избить его, надо же довести до конца преимущество, но опять же сработало твердое правило «до первой крови», и многочисленные свидетели (весь класс, стоявший широким кольцом, чтобы спрятать дерущихся от посторонних глаз) немедленно разняли нас. Заключение одноклассников было такое: «Богданов всё сделал правильно: сам обидел, сам не струсил, но К. молодец, победил, отстоял себя!».

Надо, наконец, описать и саму школу.

Школа-семилетка № 430

Школа № 430 стояла (и стоит сейчас, но носит другой номер) на дальнем конце Ухтомской улицы, недалеко от неё — станция Сортировочная Казанской железной дороги и Московская окружная железная дорога. Это рабоче-инженерная периферия Москвы, носящая гордое историческое название Лефортово. В те 1940-е годы вокруг исторического ядра Лефортово — бывшей Лефортовой слободы и Лефортовского военного госпиталя, построенного при Петре I, — располагались технические вузы, технические НИИ и КБ.

Чтобы попасть в школу, мне нужно было пройти квартал пятиэтажных жилых домов, построенных в конце 20-х годов из красного кирпича для «специалистов», пересечь трамвайную линию, идущую по Госпитальному валу, и пройти чуть ли не километр по Ухтомской улице. Она вся состояла из деревянных деревенских домов. Вдоль улицы стояли колонки водопровода (городская молодежь XXI века может и не знать, что это такое). Зимой вдоль проезжей части улицы тянулись гигантские сугробы снега, высота которых равнялась с крышами некоторых домов. Тротуары чистились от снега, наверное, самими жителями, а не дворниками. Тротуары были деревянными или просто утрамбованными щебнем, но проезжая часть улицы была точно не асфальтированная, а мощеная камнем. Зимой её более или менее чистили для проезда редких машин.

Ухтомская улица как таковая исчезала сразу за пятиэтажным краснокирпичным зданием нашей школы и начиналась просто дорога вдоль ряда каких-то сарайчиков. Позади них шли пути Московской окружной дороги, они ветвились и переходили в простор Сортировочной станции, с её многочисленными путями, складами и ещё какими-то постройками.

Четвёртый класс я закончил беззаботно. После него у нас были первые в нашей жизни экзамены.

КОНЕЦ ВОЙНЫ

Мой старший товарищ Алёша

Зима 1944–45 годов в Москве была снежной, но запомнилось, что не слишком холодной. Однако я умудрился два или три раза за учебный год простудиться и поболеть. Надо сказать, что понятия о вирусных эпидемиях у нас тогда не было, точнее не было среди широких слоёв населения. Все зимние болезни объяснялись простудой. И вот тут сыграл важную роль

в моем воспитании Алёша Данилкович, тот самый, который в Свердловске смастерил себе легкий протез из папье-маше и дюралюминия. Алёша переехал вслед за нами в Москву и был зачислен в «мамину» больницу инвалидов войны на какую-то должность. Наверное, это была должность начальника мастерской. Сейчас думаю, что важную поддержку моей маме продолжал оказывать Приданников, заведовавший Московским городским отделом здравоохранения, о котором я писал в связи с нашим переездом в Москву. Дело в том, что в ту военную зиму для Алёши Данилковича нужно было получить пропуск в Москву и прописать его в столице, и это было довольно трудно сделать без авторитетного ходатайства, которое и мог осуществить такой крупный городской чиновник как Приданников.

Алёша Данилкович был поселён при больнице, делал протезы, и время от времени заходил к нам домой. Побеседовав со мной и осмотрев мою хилую фигуру, он заявил, что мне нужно заняться физкультурой, нарастить мускулы и закаляться. Под его влиянием я начал регулярно делать утреннюю зарядку, «наращивать мускулы», занимаясь по два раза в день гантелями, и закаляться, обливаясь или обтираясь холодной водой. Помимо обычных гантелей, хорошей «гантелей» для меня служил бронзовый бюст Пастера — тот самый, что раньше принадлежал профессору Вегнеру. Он хорошо ложился в ладонь. Всё это пошло мне на пользу. Но этим наша дружба с Алёшей не ограничилась. Он был симпатичным и доброжелательным парнем, и занятия со мной, младшим товарищем, наверное, были ему интересны, пока он не завёл других знакомств. Он опекал меня и, скорее всего, одновременно удовлетворял свою потребность в упущенных детских развлечениях, которых его лишила война.

По инициативе Алёши мы с ним стали ходить в кружок бальных танцев. Этот кружок работал два раза в неделю в зале женской школы, здание которой стояло на углу Гольяновской улицы и Госпитального вала, что было совсем близко от нашей больницы. Такие кружки бальных танцев тогда были во многих школах Москвы. Напоминаю: у Алёши была ампутирована одна нога ниже колена, и он танцевал на самодельном лёгком протезе. Он не только хорошо танцевал, он бегал, катался со мной на лыжах (причём — с крутой горы в овраге), прыгал на ходу с подножки трамвая и даже на подножку, что опаснее! Трамвай № 38 шёл к нам от метро «Сталинская» (теперь «Семёновская»), медленно переезжал по мосту через окружающую железную дорогу, слегка поворачивал и начинал разгоняться в сторону следующей остановки «Госпитальный вал». Вот тут-то, после моста, и нужно было соскочить с открытой подножки, пока трамвай не разогнался. В те годы автоматически закрывающихся дверей у трамваев не было. Соскакивая, нужно было не упасть и погасить скорость пробега. А вот запрыгивая с земли на подножку движущегося трамвая, нужно было ухватиться двумя

руками за вертикальные поручни и не промахнуться ногой на подножку, чтобы не сорваться и не попасть под трамвай. Я очень переживал за Алёшу и просил, если уж хочется, пусть спрыгивает, но не запрыгивать на ходу. Эти прыжки ведь были не необходимостью, а лишь развлечением. Мне казалось, что, несмотря на разницу в возрасте, я обладал большей, чем Алёша, разумностью в таких приключениях.

Красная Армия — в Германии!

Поздней осенью 1944 года наши войска подошли к границе Литвы и Восточной Пруссии, а в Польше вышли на правый (восточный) берег реки Вислы и заняли предместье Варшавы — Прагу (не путать с чешской столицей — Прагой!). На левом берегу, в самой Варшаве началось восстание, руководимое из Лондона. Это было восстание силами Армии Крайовой и населения (в основном — молодёжи). Восставшие рассчитывали, что Красная Армия их поддержит, но этого не случилось. Восстание было подавлено немецким гарнизоном, а выжившие повстанцы — расстреляны. Эту трагическую историю нужно изучать по документам, фильмам, литературе. В основе трагедии (как и всей истории Польши во II Мировой войне) лежала большая политика.

Только в январе 1945 года Красная Армия форсировала Вислу в районе Сандомира (южнее Варшавы) и начала продвигаться с боями через Польшу. Шли бои в Карпатах и особенно ожесточенные — в степях и городах Венгрии. В марте 1945 года наши войска вошли в западную Пруссию, Померанию (север Германии) и в Силезию (юго-восток Германии). В апреле Красная армия окружила Берлин и вошла в него с запада. Сталин спешил не дать англо-американским союзникам успеть подойти к Берлину.

Ещё в марте, а может быть в апреле московское городское радио и газеты объявили, что жителям Москвы разрешается снять с окон ночное затемнение! До этого, начиная с лета 1941 года, все московские окна в обязательном порядке закрывались, прежде чем включали свет, черными шторами: матерчатыми или чаще из плотной чёрной бумаги, опускавшейся сверху окон, как жалюзи. Просвечивание света из окон на улицу каралось штрафами и угрозами «санкций». Милиция и дворники тщательно следили за этим. И вот, весной 1945 года, в одночасье затемнение отменили. Москва перестала бояться налётов немецкой авиации. Немецкие аэродромы сохранились только очень далеко от Москвы, а от самой немецкой авиации осталось немного. Всё это означало, что война подошла к концу.

Бои шли на улицах Берлина, и 2 мая Берлин был взят. Немецкие войска, окруженные в Берлине, капитулировали. В кинохронике и на страницах газет показали Знамя Победы над Рейхстагом, а точнее — много красных флагов

на разных его углах. Но бои южнее Берлина и в Австрии — продолжались. Все, следившие за ситуацией на фронте, слушали радио.

Вставка не из моих воспоминаний. Когда мы с Наталией Алексеевной, мамой и бабушкой наших с ней детей и внуков, обсуждали недавно тему «чувств и фактов», она вспомнила, как они с сестрой и мальчишкой из их подъезда 2 мая 1945 года, когда радио объявило о **взятии Берлина**, «бесились от радости и не знали, что сделать, чтобы выразить радость, выплеснуть эту радость из себя! Бегали по комнате, скакали, чуть ли не до потолка на родительском диване и отчаянно кричали! Что кричали, не помню. Нужно было просто кричать от распиравшего грудь счастья!». Было им тогда по 7–8 лет.

А теперь — снова о том, что помню я. Берлин взят, все ждали конца войны, сомнений в его близости не было. Однако утро 9 мая стало незабываемым. В это утро радио объявило о конце войны. Германия капитулировала! При всём ожидании этого события — известие было ошеломляющим. Всех охватила не просто радость, это было огромное счастье! Больше не будут стрелять, бомбить, и люди не будут гибнуть! Что теперь будет, какая-то новая жизнь? Новая история?

Начало новой жизни совпало с весной — это «двойная» весна. В приказе Верховного главнокомандующего было объявлено: «Произвести салют из тридцати залпов в столице нашей Родины Москве и городах-героях: в Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе». Мы с мамой решили, что пойдём смотреть салют на Красной площади, и пришли заранее, задолго до начала салюта. Понимали, что народу будет масса, и чтобы найти лучшее место для обзора, надо поспешить. Сквозь уже порядочную толпу прошли к Лобному месту напротив Спасской башни. Видели как мужчины и взрослые парни качают, подбрасывая, всех без разбора, кто был в военной форме. «Победа-а-а!» Тут мама сказала: «Ой! Папин подарок украли!». Папа был в этот день в Москве в командировке и где-то при встрече вручил маме для меня хороший заграничный шерстяной джемпер-жакет с застёжками на груди из пуговиц. Мама несла его с собой, чтобы надеть на меня, если будет прохладно, и он лежал в большой сумке. Праздник — лучшее время для воров. В войну их хватало. Значит не судьба воспользоваться подарком, но... «Победа-а-а-а!».

Мы решили пройти на Москворецкий мост. Оттуда будет виден Кремлёвский холм, кремлёвские башни и башенки, соборы, Москва — река, соседние мосты. Мы влились в толпу на этом мосту. И тут начался салют: необыкновенные «букеты» и россыпи цветных ракет, каких мы не видали раньше (а салютов в последний год войны было много), грохот пушек, треск

взрывающихся фейерверков, портрет Сталина на стратостате воздушного ограждения, освещённый прожекторами, и крики, крики, крики: «Ура-а-а! Победа-а-а-у-у-а!».

Я не помню, как мы возвращались домой. Безусловно — в дикой толкучке в метро, и наверняка — очень поздно. К давке на входе в метро, в вагонах метро, трамваев и в автобусах было не привыкать. Её в годы моего детства и юности было гораздо больше, чем в «годы развитого социализма». Этот счастливый день, 9 мая 1945 года, обсуждался всеми, все вспоминали, как каждый услышал о конце войны и что делал в этот день, как праздновал Победу.

Я — счастливый человек!

К такому выводу я пришел лет в одиннадцать, когда под руководством Алёши регулярно и настойчиво стал заниматься утренней зарядкой и укреплением мышц. В общем, стал заботиться о своём физическом развитии. Оснований для заключения о том, что я очень счастливый мальчик, было несколько. Во-первых, я — не калека. Мне повезло, что у меня есть руки и ноги, я могу бегать и прыгать. Я хорошо вижу и слышу всё вокруг. Такого простого счастья оказались лишены тысячи мальчишек, покалеченных во время войны. Я видел, что страна наполнена калеками, инвалидами войны. В госпитале мне доводилось видеть страшные картины: изуродованные лица, руки, ноги. Особенно ужасными были челюстно-лицевые ранения. Я представлял себе, как тяжело таким людям осознавать, что они — уроды, а им приходится общаться со счастливыми людьми, имеющими нормальные лица. Им бы иметь обыкновенное лицо, красота — это чрезмерная роскошь! Кроме того, я счастливый потому, что у меня нет неизлечимой болезни, например туберкулёза, как у Алика Кабакова, как у героев и героинь многих рассказов из литературы и из биографий известных людей.

Во-вторых, я не попадал под бомбёжку, артобстрел, мне не приходилось спасаться бегством или ползком. Я не был в плену, меня не пытали. Я учусь в нормальной школе, и каждый день ем, и даже не один раз.

В-третьих, у меня есть мама и даже папа, который может появиться, если очень надо, или я могу приехать к нему, и он будет рад.

В раннем детстве и позже — в юношеские годы — мне (или обо мне) говорили, что я — красивый мальчик. Конечно, мне это льстило, но я старался приучать себя к тому, что в этом нет ничего существенного, чтобы не зазнаваться (мама внушила мне, что зазнайство — опасный грех). Но вот лет в двенадцать я обнаружил, что я очень лопухий: уши большие и торчат! Я стал поглубже натягивать шапку-ушанку зимой, чтобы прижать уши к голове и чтобы они так приросли, а летом прятать уши под тубетейку.

Этот детский головной убор был популярен и весьма обычен в годы моего детства.

По этой ли, а, скорее, по естественной причине мои уши с возрастом прижались к голове, и я стал ещё более счастливым. Кстати — у меня с моим отцом одинаковые уши. Сравните фотографии. А вот про мой нос отец говорил: «У тебя нос от бабушки Богуцкой, с бульбой на конце», и он был прав.

Что стало главной проблемой моей школьной учёбы

В пятом классе у нас, кроме русского языка и арифметики, наконец, появились и другие предметы: история, география, алгебра, геометрия и немецкий язык. Мне стало гораздо интереснее учиться. Особенно нравились мне первые два предмета. География к тому времени для меня была уже «родным» предметом благодаря коллекционированию марок, полным знакомством с глобусом и картами мира: физической и политической. Учебник истории был написан лаконично, но мне казалось — содержательно, ибо других книг по истории я до того времени не читал. Учебник истории назывался «История СССР», и книга для пятого класса начиналась с истории Древней Руси. Сейчас сочетание слов «история СССР» и «Древняя Русь» звучит парадоксально, но мне тогда было интересно, ибо для меня этот учебник был первой книгой, из которой я почерпнул описание прошлого страны, хронологию событий и имена князей, правивших Русью. Моя речь к 11-ти годам была развитой, память хорошей, и я любил отвечать на уроках по истории. Мои ответы нравились учительнице, маленькой, чёрненькой, резкой и, кажется, довольно злой тётке, но меня это не трогало: я всегда все уроки знал, и она меня любила.

Однажды зимой она сказала мне, что на следующем уроке будет присутствовать инспектор из РОНО (Районного отдела народного образования), и она меня вызовет к доске отвечать урок. Я, естественно, всё прочёл в учебнике, и наверно перечитал ещё раз, и дословно помнил весь текст и его смысл. Начался урок. Я был сразу вызван к доске, повернулся лицом к классу, увидел на заднем ряду какую-то женщину, открыл рот, чтобы говорить, и почувствовал, что не могу произнести те слова, которые у меня уже были в голове и «на языке». Я молчал. — «Ну, отвечай». Я не мог выговорить то, что хотел. Нужно было найти какой-то выход из ужасного положения, и я нашел самый простой: — «Я не знаю». — «Не выучил урок?» — «Да». — «Садись. Двойка!» Я сел за парту и тут же тихо заговорил с соседом. Возможно, нужно было подойти после урока к учительнице и объяснить, что произошло. Но это я понимаю сейчас, а тогда, будучи стеснительным и несмелым мальчишкой, я просто стерпел небольшой позор, подвёл учи-



1946 год. Отцу — 46 лет, но он выглядит моложе.

тельницу. Но худшее началось потом. На других уроках я тоже немел, хотя и знал, когда меня вызывали к доске, что надо говорить. Я пытался преодолеть эту немоту, начинал выдавливать слова по слогам, заикаться и прекращал отвечать, но тут же свободно болтал с товарищами, когда урок кончался.

Тогда ещё не существовало в обиходе понятия «стресс». Синдром стресса открыл в 1970-х годах канадский биолог и врач Селье. И получил за это Нобелевскую премию. А я в конце 1945 года стал странным учеником, трудным для учителей и для себя самого. Изредка я мог что-то отвечать с места, если захотелось ответить спонтанно, но начинал заикаться, если ожидал этого вызова заранее, и тем более, если меня вызывали к доске. Мама ходила объясняться на эту тему с учителями, а меня записала к логопеду. Я стал заниматься с логопедом, учиться говорить «нараспев», но всё это не помогало. Я часто не мог говорить по телефону, когда мне приходилось самому звонить и начинать разговор, особенно с взрослыми. Тогда я даже не понимал одной закономерности: явление торможения речи (а это было именно торможение речи, а не истинное заикание) усиливалось, когда я не высыпался. Забегая вперед, скажу, что с возрастом (а именно в 18 лет) торможение речи у меня почти исчезло... Кроме тех случаев, когда я оказывался сильно переутомленным, например, хронически не выспавшимся. Тогда мне приходилось, почти незаметно для окружающих, преодолевать задержку речи заиканием на первых словах (даже в возрасте более 70 лет).



6 Б класс школы № 430, 1947 год. Снизу вверх и слева направо, 1-й ряд: Гершзон, Богданов, Грецев, Меньшов, Курганов, Позняхов, С. Тыренко, Невзоров, Зенякин. 2-й ряд: Савельев, Давыдов, Волков, Гуцёнок, А. К. (учительница, имени, увы, не помню), Володя-пионервожатый, Шальнов, Шевкунов, Якимов. 3-й ряд: Левин, Ланцев, Селезнёв, Кряков, Шелухин, Каплин, Кутуков, Ткачёв, Горлов, Соколов. 4-й ряд: Славишук, Иванцов, Ворожейкин, Клоков, Березняк, Костюхин, Свиренко, Тронин, Горшков. В подписи от руки ряды — сверху вниз. Подпись, сделанная мною в 1947 году, помогла!

Результатом нового поворота с моей речью стало то, что умные учителя стали предлагать мне отвечать на задания письменно или, вместо вызова к доске, как будто невзначай подталкивали меня отвечать с места. Но были и «упёртые», вроде Константина Ильича, учителя математики, дядьки с лысой головой, с бородой и в военном кителе. Он относился ко мне с нескрываемой иронией и, мне кажется, считал меня умелым симулянтом. Через какое-то время после начала этих трудностей в школу приходил разговаривать с учителями мой отец. Он часто приезжал в Москву в командировки, и мы с ним периодически общались.

Во время этих встреч с отцом я отчётливо ощущал, что я стеснительный, «зажатый» и поэтому скучный мальчишка. Легче всего мне было иметь дело с учительницей немецкого языка, Виргинией Ивановной. Она была либо немкой, либо латышкой, по-русски говорила с сильным акцентом, но преподавателем была превосходным. Она постепенно диктовала нам правила немецкого языка в своём изложении и требовала, чтобы мы записывали их в специальную толстую тетрадь. За три года учёбы у нее, с 5-го

по 7-ой класс, эта тетрадка превратилась в лаконичный и толковый учебник немецкого языка. Когда, после 7-го класса, я и ещё несколько человек из нашего класса начали учиться в другой, но территориально близкой школе, новая учительница *a priori* считала нас хорошо знающими немецкий язык, потому что мы учились у Виргинии Ивановны, и она почти «автоматом» ставила нам пятерки. Жалко: тем самым она отучила меня совершенствоваться в немецком языке, и мои знания остались на том уровне 7-го класса, на котором я расстался с Виргинией Ивановной, ибо в университете я начал изучать уже другой язык — английский.

Не могу удержаться и не сказать два слова о стиле обращения с нами Виргинии Ивановны. Она была эмоциональной и шумной женщиной; относилась к нам как строгая мама, имевшая дочь нашего возраста. Когда Стасик или Эдик Тыренко не знали урока, она кричала: «Лентяи, я всё про вас знаю, опять до темноты сидели во дворе с девчонками, мне всё дочь рассказала!». Когда Стасик или Эдик раздражали её неправильным произношением или просто незнанием урока, она хватала со стола линейку и пыталась залепить оттянутой линейкой щелчок по голове одному или другому. А если лентяй соскальзывал от неё на дальний конец скамейки, она могла вскочить на неё и всё равно ловко достать линейкой его голову. Мы веселились, боялись и уважали её. «Богданов, читай дальше», — был её излюбленный приём во время урока. Нужно было встать и с места продолжать читать текст, заданный на дом, который кто-нибудь начал читать вслух до тебя. Продолжать читать после кого-то я мог без торможения речи, а вот начинать читать первым не мог. Виргиния Ивановна это поняла, пользовалась этим приёмом, ставила мне отметки за такое чтение, не вызывая к доске, и мне было легко учиться у неё.

Умный учитель — это приятно!

Один случай помог мне завоевать уважение одноклассников. Однажды во время большой перемены я, сидя на задней парте (я сидел там с моим «покровителем» Кургановым), быстро списывал с тетрадки Курганова решение задачи, которую не успел или не сумел решить дома. Кто-то из одноклассников стал дразнить меня, мешать мне и, в конце концов, сунув палец в чернильницу, мазнул меня чернилами по лицу. Я вспылil и с криком: «Ах, ты, с...!», выхватил чернильницу из парты и запустил в него. Он уже убежал вдоль стенки класса. Понятия, что надо «упреждать» цель, когда она движется, у меня ещё не было, и моя чернильница попала в стену позади него. Чернила выплеснулись «веером» на светлую стену. В это время в класс вошла учительница и спросила, кто это сделал. Я назвал себя, тут же был удалён на весь урок из класса, потом давал объяснения в учительской, а ребята стали относиться ко мне с уважением: умеет постоять за себя!

Жизнь вне школы

Жизнь в квартире при больничном здании изолировала меня и от обычной дворовой жизни многоквартирных домов, к которой я привык в Свердловске. Я умел находить себе занятия дома: читать, играть в солдатики, заниматься марками или физкультурой. Кроме того — немного играть на пианино (об этом позже). Но мне хотелось заниматься чем-нибудь новым, попасть в какой-нибудь кружок в Дом пионеров. Но, во-первых, городской дом пионеров был далеко, около метро «Кировская» (ныне — «Чистые пруды»). Один раз я туда самостоятельно съездил. Объяснил, что хочу заниматься в каком-нибудь кружке. В каком? Я не представлял себе. Меня послали в кружок типа «Умелые руки», а у меня были неумелые руки! Когда ещё в Свердловске мы с дворовыми мальчишками мастерили весной кораблики, чтобы пускать их по вешней воде (например, в машинных колеях, когда снег таял), то мои кораблики получались самыми плохими. Да и толковых инструментов в доме не было, и (теперь я понимаю) маме было невдомек, что меня к домашнему ремеслу стоит как-то приучать. Один раз, посидевши на занятиях кружка в Доме пионеров и неудачно склеив какую-то коробочку из бумаги, я решил, что это занятие не для меня. Да и ездить далеко, и бросил. Есть или нет районный Дом пионеров, я не стал выяснять.

Хотелось быть записанным в какую-нибудь библиотеку, но где она? Кажется, я знал — где и, вроде бы, один раз заходил. Но стеснялся туда ходить один: начнут меня спрашивать, что я хочу читать, а я толком не знаю. Дома я перечитал всё, интересное для меня, хотелось читать Майн Рида, Стивенсона. Но в тот единственный раз меня озадачил строгий вопрос библиотечарши: «Что ты хочешь?». Что-то ей сказал, но она ответила, что на эту книгу надо записываться и долго ждать. Второй раз я не пошёл. Только когда меня эта библиотека перестала интересовать, я понял, что надо было туда ходить с кем-нибудь из приятелей, чтобы кто-то помог мне. Но подходящих для этого приятелей у меня не было. Только в восьмом классе я сошёлся поближе с Толей Шелухиным, который жил в соседнем дворе. Но это уже другая глава моей жизни. А сейчас я пишу о временах учёбы в школе-семилетке.

Иногда попадались книги, которые меня захватывали. Такой книгой оказалась «Оборона Севастополя» академика Тарле. Её дал мне почитать Алексей Павлович Дмитриев. О нём была речь выше. Он с женой как-то был у нас в гостях и, кажется, по моей просьбе дать почитать что-нибудь про историю, принёс мне эту книгу. Я вцепился в неё и попросил подарить её мне, с чем он легко и благородно согласился. Он вообще был симпатичным, очень уравновешенным и великодушным человеком. Я даже сейчас помню

его несильный, но очень приятный голос! А потом или я, или мама купили толстую книгу Степанова «Оборона Порт-Артура» (и я её детально «проработал», так же, как «Оборону Севастополя»), потом были ещё какие-то исторические романы («Даурия» и др.). Но детскую романтику и приключения (кроме трёх-четырёх книг Жюль Верна и Конана Дойля о Шерлоке Холмсе) я, в основном, упустил. А уж когда в старших классах дело дошло до обсуждения с одноклассниками «12 стульев», тут я вообще оказался профаном.

Года три я учился играть на пианино. Пианино мы привезли из Свердловска. Оно было дореволюционное, какой-то довольно популярной немецкой фирмы. Тогда, по-моему, все пианино в стране были производства немецких фирм или их филиалов в старой России. Мама наняла молодую учительницу, которая приходила к нам домой два раза в неделю. Сначала я играл только гаммы, потом арпеджио, потом этюды (кажется, Черни), потом начал «Детский альбом» Чайковского. Когда ко мне изредка заходили одноклассники или другие случайные знакомые, то иногда, увидев пианино, спрашивали, играю ли я на нем, и просили что-нибудь сыграть. Самой неприятной бывала просьба сыграть что-нибудь «из жизни», а не из Чайковского, например, какую-нибудь песенку. Приходилось объяснять, что со слуха я играть не могу (слуха нет), и нот популярной музыки тоже нет. Я просил учительницу принести мне какие-нибудь ноты современной музыки, но она не раз мне строго отвечала, что сначала нужно овладеть техникой и программой музыкальной школы, а потом думать о популярной музыке, которая её, учительницу, не интересует. Я знал, что на Неглинке есть нотный магазин, думал, что это магазин только «серьёзной» музыки, и стеснялся идти туда за нотами песенок, так же, как стеснялся проявить свою некомпетентность в детской библиотеке. Закомплексованный был мальчик, но этого термина не знал и явления не осознавал, боялся нарваться на разоблачение меня в этой боязни.

Дорогие молодые родители, боритесь (но умело) с закомплексованностью ваших детей! А ещё правильнее — замечайте подобную склонность или склад характера и у себя, и у детей и просите кого-нибудь подсказать вам, как освободиться от такой склонности, не запускать, не усугублять её! Добьётесь прогресса — жизнь станет интереснее.

Я понимал, что моя учительница музыки — никудышный педагог. Мне хотелось научиться играть по-настоящему, была даже детская мечта освоить «Полонез си-бемоль-мажор» Шопена, но не под руководством этой скучной «училки»! Мама сказала, что у неё нет возможности найти другого педагога. Мне хотелось сказать моей учительнице, что я не хочу с ней заниматься, но я робел. Помимо робости была и боязнь обидеть или даже оскорбить учительницу: ведь она не виновата, что сама такая скучная (к тому же ещё не-



«Неаполитанский танец» Чайковского.

красивая и прыщавая). Я избрал пассивный метод избавления от неё: пусть сама откажется. Это было несложно сделать: надо просто перестать выполнять её задания, показать, что занятия меня не интересуют. Усиленный вариант такого безразличия к её преподаванию был таков: перед её уроком, а приходила она после окончания своего рабочего дня в каком-то училище, я ходил играть в футбол на пустырь перед нашими окнами. Пустырь был засыпан утрамбованным шлаком и шлак пылил чёрной пылью. Все мальчишки быстро становились чумазыми, а так как я часто стоял на воротах, то к началу урока руки у меня теряли нужную для фортепьяно пластичность, иногда просто дрожали. Два или три таких эксперимента на фоне неподготовленных домашних заданий привели к тому, что учительница сама сказала, что если это будет продолжаться, то она от меня откажется. Это продолжалось, и она сдержала своё слово. Ура! Заодно освободилось время для футбола, для катания на лыжах зимой, и вообще... Но в результате этой «победы» я остался без навыков игры на фортепьяно.

На лыжах я с увлечением катался с крутых склонов оврага позади нашего больничного здания. Ходил (ездил две остановки на трамвае) на каток в Лефортовский парк, «Парк культуры и отдыха МВО», т.е. Московского военного округа. Коньки мне давались хуже, чем катание с гор на лыжах.

Крутизны я не боялся и на ногах стоял. А вот на катке ноги у меня довольно быстро уставали, значит — не мой спорт!

Лефортовский парк был уютным и симпатичным местом для гуляния летом. Там были (и сейчас, наверное, есть) пруды и прокат лодок, и я этим с удовольствием пользовался. Кроме того, там был стадион МВО с футбольным полем. Маленькие деревянные трибуны располагались только на одной стороне поля, и официальные футбольные матчи там игрались редко. Но этот стадион был тренировочной базой футбольной команды ВВС — военно-воздушных сил МВО. Эта команда в 1946–47 годах играла в высшем дивизионе первенства СССР по футболу (наряду с московскими «Динамо», ЦДКА, «Торпедо» и «Спартак»). «Шефом» команды был командующий ВВС МВО генерал-майор авиации Василий Иосифович Сталин. Он приезжал на тренировки команды и, естественно, мы, дворовые футболисты, бегали на этот стадион, чтобы посмотреть на него, и нам это удавалось. Либо у него не было особой охраны, или эта охрана не обращала на нас внимания: мальчишки! Гордость советского футбола, Всеволод Бобров играл короткое время в этой команде, но кроме того он играл в хоккейной команде ВВС. Это была легендарная команда первых чемпионатов СССР по хоккею с шайбой, «канадскому хоккею», как он тогда назывался в народе. Я даже ходил на один из матчей этой команды. Эти первые матчи первенства СССР игрались на открытом воздухе даже в сильные морозы (больших дворцов спорта тогда не было). Матчи проходили на площадке, которую создавали зимой у Восточной трибуны стадиона «Динамо». Там же я видел один из первых матчей сборной СССР со сборной Чехословакии. Наши хоккеисты учились у чехов и словаков. Виртуозная игра Боброва и Бабича обращала на себя внимание. Я видел её.

После первого триумфального сезона хоккейная команда ВВС разбилась на самолёте, когда летела в Свердловск. Но Бобров и Бабич, два ведущих нападающих, почему-то не полетели на том самолёте и остались живы.

1945 год для меня закончился поездкой с мамой в Ленинград. Был конец декабря, приближались школьные каникулы и, если я правильно помню, мама послала со мной записку в школу с просьбой разрешить мне уехать с ней дня за два до окончания школьной четверти. В Ленинграде был назначен какой-то медицинский съезд, мама рассчитывала участвовать в его работе, но не хотела оставлять меня одного в Москве.

Это была первая в моей жизни поездка в Ленинград. Мы остановились в гостинице «Московская» на улице, по-моему, тоже Московской, у площади Восстания, наискосок от Московского вокзала. Гостиница выглядела обветшало. Это было неудивительно: блокада Ленинграда закончилась только весной 1944 года, с тех пор прошло меньше двух лет и всего полгода после

окончания войны. В конце XX века эту гостиницу закрыли на капитальный ремонт, а затем полностью снесли и построили на этом месте новый дом, вписав его в общую линию зданий. В декабре Ленинград почти всегда бывает сумрачным, а после блокады все дома были грязными снаружи, но всё же он стал для меня сразу интересным. Я в тот раз увидел в городе не так много. Невский проспект был мрачным, но очень городским и европейским («немецким») по сравнению с Москвой. Сразу произвела внушительное впечатление Нева. Не помню, была ли она замёрзшей, и, кажется, помню, что Эрмитаж был ещё закрыт.

Самым сильным впечатлением от послевоенного Ленинграда было субъективное ощущение того, что я побывал в истинно героическом городе, увидел своими глазами тот Невский проспект, который в замерзшем виде представлял в кадрах военной кинохроники. Он в 1945 году выглядел совсем не так, как на гравюрах времён Пушкина и фотографиях начала XX века. Ленинград 1945 года был едва начавшим приходить в себя огромным и дымным послевоенным городом.

Как я проводил летние каникулы

За время моей учёбы в 5–7-х классах у меня было три варианта летнего отдыха. Дважды я ездил в пионерский лагерь, дважды примерно по одному месяцу проводил у отца в Свердловске и, наконец, почти каждое лето выезжал с мамой на один месяц на Кавказ: на Кавказские минеральные воды (Пятигорск и Кисловодск) и один раз — в Сочи. Великолепный для тех тяжёлых послевоенных годов набор вариантов отдыха! Я глубоко благодарен за это моим родителям.

Пионерский лагерь был за Окой, недалеко от железнодорожной платформы «Свинская». Теперь, по-моему, она переименована в «Платформу 118 километр». Я был там в первую смену 1947 года. Лагерь запомнился упомянутой ранее дракой с Эдиком Химачём и единственным за всю смену походом к Оке. Я тогда ещё не умел плавать, да нас и не пускали на глубину, а ребята пугали друг друга тем, что в Оке водятся кусачие чёрные пиявки. Кроме того пионервожатые назначили меня председателем совета дружины. Нашили мне на рукав белой рубашки три красные полоски. Я был очень горд, но... главной моей обязанностью должна была стать отдача команд на утренней линейке: я должен был принимать рапорты председателей советов отрядов и затем рапортовать старшему пионервожатому, а я, как и у доски в классе, был неспособен говорить в такой обстановке: проклятая задержка речи! Пришлось всё это делать старшей пионервожатой, а я стоял рядом «для мебели». Была даже официальная фотография вида этой линейки с той самой пионервожатой и мною на переднем плане.

Обидно и несколько унизительно, но я привык терпеть... И, думаю, это было неправильно.

После поездки в пионерлагерь я должен был вскоре ехать в лагерь «Артек» в Крым. Мама получила для меня путёвку. Это была редкая и завидная удача, но поездка не состоялась: ещё на платформе «Свинская» в ожидании отъезда в Москву (а нас привезли заранее и ждали мы долго) я почувствовал, что заболеваю, и сильно заболеваю. У меня уже был богатый опыт осознания признаков начинающейся болезни: головная боль и озноб. Поезд до Москвы шёл долго, я чувствовал себя очень больным, но приходилось держать себя в руках. Мама встретила меня на вокзале совершенно разболевшимся. Началась скарлатина. Путевку в «Артек» пришлось сдать, а после окончания, по-моему, довольно длительной болезни в августе 1947 года маме пришлось взять меня с собой в Сочи, хотя сначала это никак не входило в её планы.

О моих с мамой поездках на Кавказ начну в хронологическом порядке. Первая поездка была в августе 1946 года в Пятигорск. В районе Орла поезд проходил через станцию Понири. Я знал это название из военных сводок Совинформбюро. Всего лишь за три года до нашей поездки, а именно в июле — начале августа 1943 года здесь шли тяжёлые бои. Это был северный фланг знаменитой Курской дуги, где наши войска сначала две недели отступали, а потом наступали, и 5 августа в Москве был дан тот самый, первый в истории войны, артиллерийский салют в честь освобождения Орла (а на Южном фланге дуги — Белгорода), который помнят все, пережившие ту войну. Стоя у окна вагона, я жадно вглядывался в местность, пытаюсь увидеть разбитые танки, но либо бои были не у самой станции (хотя именно она упоминалась в сводках), либо (скорее всего) разбитую технику успели вывезти на переплавку. Я видел только несколько разрушенных зданий в районе станции, но те, что функционировали, были покрашены. Страна залечивала, зализывала раны.

Город Минеральные воды меня разочаровал: одноэтажный, ничем не замечательный городок в почти плоской степи. Но, когда поезд миновал эту станцию, то на широком просторе, видимом из окна поезда, стали появляться как бы искусственно поставленные на слабохолмистой местности, отдельно стоящие горы. Сначала — бесформенная, спрятанная в зелени Железная гора, потом почти сразу слева от дороги куполообразная гора Машук, а справа — многовершинная скалистая и островерхая гора Бештау, и поезд прибыл на станцию Пятигорск.

Во вторую поездку на Северный Кавказ в 1948 году (после скарлатины и сорвавшейся в 1947 году поездки в «Артек») мы ехали с одним из бывших маминых пациентов, симпатичным дядькой, ставшим после войны шахтёром. Он был Героем Советского Союза. Золотая звезда Героя была приколот к его пиджаку. В дороге он охотно и просто рассказал, как полу-

чил эту награду. «Шла осень 1943 года. Мы вышли на левый берег Днепра. Нас построили и объявили: каждый, кто добровольно согласен участвовать в переправе через Днепр под огнём немцев на правый берег, получит звание Героя Советского Союза. Кто согласен — шаг вперёд! Я быстро подумал и решил, что если просто выживу до конца войны, то буду никем, а если выживу Героем Советского Союза, то буду Человеком, у меня появятся шансы устроить свою жизнь, и шагнул вперёд». Из этого и подобных рассказов я узнавал настоящую, а не агитационную правду о той войне.

Добавлю ещё один эпизод к характеристике военных и первых послевоенных лет. Он относится к началу той же поездки в Кисловодск. Мы приехали на Казанский вокзал задолго до отправления поезда и заранее заняли свои места в вагоне. Наш попутчик-герой, повесив пиджак в купе вагона, пошёл в вокзальный буфет за пивом. Через короткое время в вагон и к нам в купе пришли два милиционера и спросили у мамы, знает ли она такого-то и действительно ли он едет в этом купе? Мама показала милиционерам его пиджак. Они сказали, что должны проверить его документы. Удостоверение Героя Советского Союза они нашли сразу, нашли и паспорт. Посмотрели документы, положили назад в карман и объяснили нам, что наш попутчик был временно задержан при попытке получить пиво в буфете без очереди, заявив, что он Герой Советского Союза и имеет право обслуживаться вне очереди. «Сейчас много аферистов называет себя героями и даже имеют фальшивые документы. Мы их отлавливаем», сказали милиционеры, козырнули и ушли. Через несколько минут наш герой появился с бутылками пива и извинился перед мамой за беспокойство. Он был абсолютно трезв, уравновешен и спокоен. Нужно сказать, что в те годы аферистов, жуликов и воровства было действительно много. Милиция работала напряженно, и следует отметить, что милиционеры в те годы были более «городскими» в манерах своего поведения, чем сейчас.

Ещё я запомнил пассажира нашего поезда, который выходил на платформу на каждой станции и охотно общался с местными женщинами, пользуясь их повышенным вниманием. Дело в том, что он имел облик сильно повзрослевшего Тарзана (не помню, в каком году фильм «Тарзан» вышел на экраны). Этот примерно пятидесятилетний мужчина с длинными, до плеч, вьющимися волосами щеголял своим красивым, загорелым торсом, будучи в одних трусах из плотной светлой материи. Он был также босой. «Тарзан» сошёл на какой-то станции. Проводники вагона говорили, что он давно ездит по этой дороге туда-сюда и даже зимой ходит босым. После войны встречалось много необычных и предприимчивых людей, искавших своё счастье в разных обличиях.

У мамы была путёвка в какой-то кисловодский санаторий, а меня она поселила на частную квартиру (на веранде) где-то рядом с Красными кам-

нями. Это было замечательное место. Там можно было лазать по скалам и путешествовать. Где я кормился — не помню. Помню, что ходил пробовать иногда противную, иногда приятную воду из всех кислородских источников. Помню, что хозяйского полосатого кота звали Борькой, и это меня возмущало: ведь много людей носят имя Борис, и им сравнение с котом должно быть обидно, а кроме того Борис — совершенно не кошачье, а козлиное имя; типичное кошачье имя — Васька! Как понимает читатель, логика моих размышлений была на высшем уровне!

Ещё одна поездка на Кавказ состоялась в 1947 году, мы ездили в Сочи. У мамы была путёвка в хороший санаторий, он назывался «Москва». Меня она опять устроила на какой-то квартире. Иногда я приходил в санаторий на обед, и мама делила свой обед со мной.

В тот год отмечалось 800-летие Москвы, поэтому ощущалась праздничная суета в санатории и по радио. Телевидения тогда ещё не было.

Город Сочи, тогда более патриархальный, чем в современной России, тем не менее, носил на себе печать предвоенного шика, который я ранее видел в кинофильмах. Какие-то воспоминания, сохранившиеся у меня с 1938 года (тогда мне было лишь 4 года!), были смутными. А в 1947 году я увидел шикарный по моим понятиям курорт с густой субтропической зеленью: красивые кипарисы, пальмы (прямо на улицах!) и яркие цветы на клумбах! И курортный флёр... Я уже вступил в переходный возраст и чувства волновались, когда сгущались сумерки и усиливался аромат цветов.

В ту поездку, купаясь на городском пляже, где после войны были поставлены бетонные волнорезы (молы), я, наконец, научился плавать. Я ощутил это, когда впервые проплыл расстояние от одного мола до другого, не касаясь дна ногами. Ура! Ещё запомнил, как во время сильного прибоя в море между молами плавал «отдыхающий», молодой парень с ампутированной ногой. Он, очевидно, отдыхал в каком-то из санаториев и, в соответствии с манерой больниц и госпиталей тех лет одевать своих пациентов в солдатское бельё, был в белых солдатских кальсонах. Так в них и купался. На набережной над пляжем собралось много зевак. Все переживали, боясь за него, потому что волны нешуточно били о волнорезы и потом оттягивали всё, что было на поверхности назад в море. Но парень был сильный и мужественный. Он сумел после очередной волны поймать момент, отжаться на сильных руках и остаться на бетонном моле. Наблюдавшие вздохнули с облегчением.

Наконец, кратко расскажу о двух летних поездках к отцу в Свердловск. Первая состоялась летом 1945 г. Какое-то время я пожил в квартире у папы. Спал в его домашнем кабинете на откидной кровати, которая днём прихлопывалась к стенке. Как-то играл с Толей, сыном Наталии Ивановны. Он был на два года младше меня. Моего отца он тоже называл папой. Своего отца,



Ф. Р. Богданов, И. Г. Герцен и Мухин. Свердловск, Институт ВОСХИТО. 1950-е годы.

арестованного через год после его рождения (и вскоре расстрелянного) он, конечно, не помнил.

Через какое-то время отец повёз меня на несколько дней за город погостить к отцу своего сотрудника, Ивана Генриховича Герцена. Иван Генрихович был симпатичным и сдержанно-приветливым человеком. Он был из русских немцев. Во время войны немцев, живших на Урале, не ссылали дальше — в Сибирь или Казахстан, в отличие от тех, которые жили к западу от Урала. Иван Генрихович был высокого роста, одного с моим отцом. Он был строен, суховат, с тонким, приятным лицом и тонкими усиками и прямым, но бесстрастным взглядом, в котором нет-нет, да проскальзывала сдержанная улыбка.

В отличие от мягкого Ивана Генриховича его отец был довольно суровым и неприветливым человеком. Я прожил в его доме недолго. Помню только, что каждый день и в разных мелочах встречались какие-то ограничения, о которых хозяйева дома говорили прямо: водой надо пользоваться вот так, а дверь закрывать так, и так далее.

Эта поездка к Герценам запомнилась также тем, что проехать к ним из города было трудно. Добирались с отцом в кузове грузовика по Берёзовскому тракту, дороге, проложенной через болотистую местность. Дорогу непрерывно ремонтировали пленные немцы. Использовался даже с моей детской точки зрения чудовищный (по-моему, русский) метод мощения болота: в грунт укладывались слои брёвен, а сверху насыпалось что-то. Как говорили, через некоторое время нужно было укладывать новый слой брёвен, потому что предыдущие бревна «куда-то» тонули...

С Иваном Генриховичем я встречался и позже. Последний раз на похоронах моего отца в 1973 году в Киеве. Иван Генрихович тогда уже был профессором, заведующим кафедрой в Одессе. Он едва ли не первым приехал в Киев, когда узнал о кончине моего отца и при всей своей сдержанности («сухости») очень сердечно говорил о моём покойном отце. Для меня это было удивительным и приятным, потому что в воспоминаниях свердловского периода у меня осталось в памяти, что отец всё время ворчал в разговорах с И. Г., делал ему какие-то ворчливые (но не резкие) замечания. После выступления И. Г. на похоронах я проникся к нему ещё большей симпатией.

Помимо свердловской квартиры отца и Наталии Ивановны и дома Герцена-отца я в то лето прожил какое-то время на снятой отцом даче в посёлке Шарташ, том самом, где я был в детском санатории летом 1944 года. А вот летом 1946 года, во время летнего заезда к отцу, нас с Толей и с велосипедами поселили в какой-то комнате на тракте, который начинался в городском районе, называвшемся ВИЗ (Верхисетский завод) и по которому тогда пустили троллейбусную линию. Можно было легко добираться из города и в город. Какая-то женщина приносила нам еду, а мы (мне 12 лет, а Толе — 10) были предоставлены сами себе (правда, «загруженные» книгами), но должны были ежедневно звонить домой по телефону-автомату, который находился где-то рядом.

Мелкие происшествия и гнев отца

Это пребывание летом в гостях у отца отметилось двумя скандалами, по поводу которых я недоумеваю до сих пор. Первое происшествие заключалось в том, что мы с Толей попали в милицию. Дело было так. Как известно, сзади у троллейбусов старой конструкции была лесенка, чтобы влезать на крышу. Естественно, мы понимали, что ездить на крыше троллейбуса гораздо интереснее, чем внутри него. Опять же на крыше — бесплатно, и это приятно, не потому, что у нас не было денег на проезд (он стоил 4 копейки), а потому что бесплатный проезд — гораздо большее удовольствие, чем платный. Так катались мы несколько раз: от того места, где жили, до следующей, конечной остановки и обратно. Но однажды



*На летних каникулах в Свердловске.
1946 год.*

на конечной остановке к нам подошел дядя в черном пиджаке и сапогах, а под пиджаком была милицмейская форма, и приказал нам идти с ним в отделение милиции. Мы шли вдоль шоссе, в затылок один другому, как пленные: впереди Толя, за ним я, а за мной милиционер. Шли несколько минут, слева была придорожная канава. А за ней луг. Меня так и подмывало броситься бежать, и я был уверен, что дядька в сапогах бегаёт хуже, чем я. Но я не знал, поймёт ли Толя, что надо тоже сразу побежать и при этом в другую сторону! А оставлять его одного было неправильно, и я, скрепя сердце, согласился идти до самого отделения милиции. Там нас весьма вежливо расспросили, кто мы такие, спросили адрес и телефон родителей и позвонили на работу отцу. После этого отчитали и отпустили. Милиционер проследил, чтобы назад мы ехали не на крыше. А в городе мы получили головомойку. Отец был неподдельно разгневан и говорил что-то вроде того, что мы (и особенно — я) опозорили его на весь Свердловск, потому, что «все узнают, что сыновья профессора Богданова, как беспризорные босяки ездят на крыше!». Ужас! Ужас был не в том, что ездили на крыше, что «босяки», а в том, что отец долго и неподдельно «кипел».

Но, с точки зрения отца, этого нам было мало. Мы получили ещё одну выволочку. И её-то вообще за пустяк. Дело было так. Пространство между отцовским институтом ВОСХИТО и соседним Институтом антибиотиков (точного названия не помню) было открыто в сторону Банковского пере-



Фёдор Родионович Богданов на обходе в Институте ВОСХИТО смотрит рентгеновский снимок. Свердловск. 1950-е годы.

улка, но с другого конца, со стороны улицы 8 Марта, замыкалось старыми купеческими складами. Между двумя соседними складами находилась высокая разрушенная арка, а под ней — накрепко забаррикадированные ворота. Верхушка незамкнутой арки едва достигала уровня третьего этажа института, а разлом её толстых стен представлял собой легкий подъем по кирпичикам к крышам складов. В общем, «конструкция» (вернее, «руина») была очень удобной для лазанья по ней. Я удивляюсь, что до нас с Толей никто не увлёкся этой простой идеей. Мы легко залезли на уровень крыши склада и чем-то там занимались. Может быть, сидели и, довольные собой, созерцали, что делается под нами на улице и в межинститутском дворе. Вдруг из отцовского института появился какой-то человек и стал требовать, чтобы мы немедленно слезли и явились в кабинет к отцу: «Федор Родионович очень рассержен!». Пришлось прервать безобидное удовольствие. Мы пришли в отцовский кабинет. Через некоторое время появился и он, совершенно разгневанный. Отец сказал, что мы сорвали ему операцию (?!). Из окон операционной, располагавшейся на третьем высоком этаже института, была видна эта арка.

Какой-то услужливый ассистент во время операции, которую делал отец, увидел в окно нас, сидящих на уровне окон операционной (хотя и на расстоянии не менее 50 метров от его окна), узнал нас и услужливо сказал: «Фёдор Родионович, Ваши сыновья сидят на крыше». Дурак! Не мог подождать

конца операции! И, вообще, мы сидели, не бегали и не прыгали по крыше. Что тут плохого или опасного? Отец оказался чрезмерно впечатлительным (трусливым, что ли?). Он бросил оперировать, передал операцию кому-то, распорядился немедленно послать кого-нибудь согнать нас с крыши, пришёл в кабинет и, кажется в повышенном тоне (но не крича), говорил, что не хватало ещё ему лечить наши травмы, и что он «в такой обстановке не мог оперировать». Большая часть гнева была направлена на меня, потому что я старший из нас двоих и потому, что он «хотел создать мне условия для отдыха», и пригласил в Свердловск, а я «в благодарность» срываю ему операцию и, вообще, «веду себя как хулиган, позорю его», и т. д. и т. п. Я тогда особенно не анализировал мотивы его гнева, а сейчас, когда задумался над этим эпизодом 66-летней давности, подумал, что, наверное, мой отец в детстве был «паинькой» и по крышам не лазил. Очень жалко: он лишился важных впечатлений детства! Аминь!

Поездки из Москвы в Свердловск и обратно запомнились ещё и тем, что я первый раз в жизни (а потом — второй и третий) летал на самолёте. Летал, конечно, с отцом, всегда с посадкой в Казани и болтанкой в воздухе. Тогда были двухмоторные самолёты Ил-2. Однажды мы с отцом летели на десантном варианте самолёта — самолёте американского производства, Ли-2. Наш Ил-2 был очень похож на американский, но он был приспособлен для гражданских пассажиров и имел мягкие кресла. А у «американца» был неотапливаемый фюзеляж и дюралюминиевые сидения для десантников вдоль окошек, как в трамвае. Мы летели грузопассажирским рейсом, других билетов не было. Отец сэкономил время, летая в Москву в командировки (иначе поездом — двое суток) и «прихватывал» меня с собой. Всё это было чрезвычайно интересно, несмотря на то, что после полёта я долго ходил оглушённым, а во время него иногда тошнило.

Часть IV

В СТАРШИХ КЛАССАХ ШКОЛЫ И ПОСЛЕ ШКОЛЫ

Последний класс школы-семилетки все ученики закончили со стандартным документом о неполном среднем образовании. С этим документом можно было поступать в техникум. Техникумов и фабрично-заводских училищ (ФЗУ, они же — ремесленные училища) в те годы было много, и они заполнялись учащимися. В нищей послевоенной обстановке многие школьники из необеспеченных семей старались поскорее приобрести специальность и начать зарабатывать, а стране были нужны квалифицированные рабочие. В этом отношении предложение и спрос совпадали. Нужно не забывать, что в те же 40-е годы страна обладала несколькими миллионами заключённых ГУЛАГа (фактически рабов) и пленных немцев и их союзников. Большинство тех и других использовалось на физической работе: восстановлении городов, заводов; а заключенные чаще трудились на лесоповале, рудниках, строительстве железных дорог на севере и разных военных объектов по всей стране.

Получил и я свое удостоверение об окончании семи классов. Это был мой первый государственный документ. Я ощутил, что сделал шаг в сторону взрослой жизни, наверное, потому, что примерно половина ребят из нашего большого класса пошли учиться в техникумы, а несколько человек, достигших 16 лет, отправились прямо на работу.

На расстоянии одной и двух трамвайных остановок от дома находились две школы-десятилетки, куда можно было подавать документы для продолжения учёбы в 8–10 классах. Репутацией хорошей школы обладала та, что находилась на Большой Семёновской улице. В те годы у работающих родителей не было принятым опекать своих детей так, как нередко опекают их сейчас. Школьники получали свои удостоверения и шли сами записываться в 8-й класс новой школы. Отправились и мы с соседом Толей Шелухиным. Но когда пришли в эту школу, нам сказали, что набор восьмиклассников уже закончен и посоветовали ехать записываться в школу № 417 на Авиамоторной улице, сразу за Госпитальной площадью. Мы тут же поехали туда на трамвае (тогда и много лет спустя от нашей остановки «Госпитальный вал» туда ходил трамвай № 38). Приехали, записались, и с той поры и до окончания 10 класса дружили и сидели за одной партой.

В 8Б классе кроме нас оказалось ещё четыре человека из нашего бывшего класса 430-й школы-семилетки: Иванцов (кажется Вова), Валя Невзоров, Боря Шальнов (Боб, он же Шарик) и Вова Гущёнок. Иванцов был невысоким,

плотно сбитым темноволосым парнишкой, самым симпатичным, по моим понятиям, из этой четвёрки. Он чуть-чуть заикался, просто периодически спотыкался в произношении некоторых слов, но это ему не мешало и даже слушалось как-то мило. Ему хорошо давалась математика, и вообще он был способным парнем. Он жил в одном дворе с Толей Шелухиным, недалеко от меня, и был склонен к дружбе. А после окончания 8-го класса он поразил нас известием, что его приняли в военно-воздушное училище и он уходит из школы. Я вспоминаю, что он появлялся потом в форме курсанта авиационного училища. После 9-го класса Валя Невзоров, друживший и сидевший за одной партой с Шариком, тоже ушёл в авиационное училище, но в училище Гражданского воздушного флота, и это произвело на нас ещё большее впечатление. А Боб Шальнов доучился с нами до конца и поступил в какой-то «забористый» технический вуз. Боря всегда учился хорошо и как бы шутя. Он был высокого роста, крепкого телосложения, с круглой детской головой и круглыми, но всегда моргающими и щурящимися глазами. Очень отчётливо помню его.

Учителя старших классов, и как я учился

Из учителей 8–10 классов в 417-й школе конца 1940-х годов, как преподавателей высокого уровня, я выделяю двух человек: учителя математики Кушу (если правильно помню, — Алексея Николаевича Кошелева) и учителя русского языка и литературы Нину Осиповну Белинскую.

Куша был директором школы и вёл уроки алгебры, геометрии и тригонометрии. Ему было около 50 лет (так мне казалось), он был среднего роста, плотного телосложения, с несколько мешковатой, но подвижной фигурой. Всегда ходил в костюме и имел директорский вид. У него было мясистое лицо, толстый нос, быстрый и зоркий, но не задерживавшийся на собеседнике взгляд. Он всё быстро понимал и так же быстро реагировал. Мне кажется, он хорошо разбирался в психологии мальчишек, не придирался, но и не поощрял, в общем, мне казалось, не тратил на нас эмоций, что-то вроде «отца-командира» солдат. Главным его требованием было правильно употреблять слова, математические понятия и формулировки в наших ответах. Не дай Бог было сказать ему: «Опустим перпендикуляр из точки А», и не добавить, куда его опустим! Он тут же прерывал и возмущенно спрашивал: «Куда опустим? Что, сядем на вершину телеграфного столба и начнём пускать перпендикуляры во все стороны? Ты знаешь, сколько перпендикуляров можно пустить с вершины столба в разные стороны?». Он ценил ребят соображавших и не ленивых. Я учился у него средне, особыми способностями к математике не обладал, но старался. Старался, в том

числе, и потому, что все авторитетные для меня ребята хорошо успевали по математике. У нас таких было много, и мне хотелось не отставать от них.

Однажды, в 10-м классе, я приятно удивил Кушу и весь класс, когда после того, как он продиктовал нам условия геометрической задачи, внезапно сообразил, как надо решать, поднял руку и, кажется, не дожидаясь приглашения, пошёл к доске и стал чертить и объяснять. Куша озадачился и сказал: «Ну, эту задачу обычно решают не так, но так тоже можно, садись, пять» и потом кто-то или он сам показали, как надо решать «обычно». Это был редкий случай, когда я отвечал у доски. Обычно из-за ужасно мешавшей мне задержки речи, я писал ответы письменно: садился за пустую первую парту и писал. К этому способу «опроса» преподаватели пришли не сразу, но пришли. Приятным было то, что класс отнёсся к этому с пониманием. Вообще ребята в нашем классе «Б» были толковые и не зловердные. Этот случай лишний раз показал мне и всем, что задержка речи у меня была чисто стрессовой. Когда безо всяких требований ко мне, без ожидания ответа от меня, я вдруг что-то говорил, у меня всё получалось гладко.

Нина Осиповна была преподавателем-романтиком. Она читала нам вдохновенные лекции о писателях, о литературных героях, об истории русской литературы в контексте истории страны. Отвечать устно на её уроках я, конечно, не мог из-за той же задержки речи, но это компенсировалось сочинениями, которые я писал с удовольствием. Получал отличные отметки за содержание, но всегда на балл или два ниже за пунктуацию (за отсутствие запятых или лишние запятые). Грамотность в написании слов, падежей, согласовании времён и в прочих многочисленных трудностях русского языка у меня всегда была хорошая. Главным моим врагом в русском языке были длинные фразы, в которых нужны запятые. Я борюсь с ними до сих пор. Я всегда завидовал своему соседу по парте Толюнчику (Толе Шелухину) который «от рождения» обладал идеальной грамотностью и точностью письменной речи и при этом не строил длинных фраз и не мучился над запятыми.

Из умелых учителей можно ещё отметить учительницу истории. Имени её уже не помню. Она была худой, хорошо одетой (что не всем учителям было под силу), довольно жёсткой и требовательной, и очень политизированной («партийной»). Вела свой курс насыщенно, требовала знания казённых формулировок, в общем, тренировала нас на готовность отвечать «как надо» по всем неизбежным «общественным» дисциплинам. Это потом пригодилось в университете (курс основ марксизма-ленинизма и т.п.).

Остальные учителя ничем особенным не выделялись, кроме учителя рисования и черчения. У него было прозвище «Милок». Он был пижоном: ходил в кожаном пиджаке голубого цвета, носил цветные рубашки с шарфиком на шее, а причёску свою, наверное, умащивал брильянтином. Однажды

он, тёмный шатен, выкрасил волосы перекисью и стал «ослепительным» блондином. Мы развлекались!

Надо сказать, что были две учительницы, которые вели свои предметы «спустя рукава»: неинтересно и вяло. Их бы совсем не уважали, если бы они не были добрыми тётками. Это были преподаватели географии и немецкого языка. Географию я любил с детства и, мне кажется, знал её лучше этой учительницы. А учительница немецкого говорила: «Все, кто учился у Виргинии Ивановны в 430 школе, знают язык хорошо», и ничему нас не учила. А жаль: мы потеряли три года для освоения языка.

Почему я пишу о своих учителях, о ситуациях, связанных с учёбой? Дело в том, что все взрослые и образованные люди фактически являются учителями по отношению к менее образованным людям, тем более, к детям. К умелым учителям, которых уважают, — прислушиваются. На плохих учителей не обращают внимания, а то и специально игнорируют. Уроки можно извлекать, слушая (или игнорируя) окружающих. Осмысленный опыт — всегда поучителен. Я постарался ненавязчиво проанализировать собственный опыт.

Как известно, жизнь школьная — не только в уроках

Наш восьмой класс находился в общем коридоре, однако здесь не было толкотни. По коридору во время перемены часто ходили учителя, но им не нужно было протискиваться через толпу школьников, как это приходилось делать мне, когда я заходил в школу к своим сыновьям в 60-е и 70-е годы. Почему?

В 1948–49 учебном году на переменах в коридорах школы № 417 существовала игра, которая приводила к саморегуляции порядка: ученики стояли по стенам и редко бегали по коридору. Бегать запрещали учителя, делали замечания, грозили дисциплинарными мерами. А вот вдоль стен ребята стояли сами. Процветала игра «Ж..у — к стенке!» Кто отрывался от стенки, немедленно получал пинок по попе: стань к стенке! Отличная игра: весёлая и полезная для дисциплины!

Да, ещё забыл! Играли в «жестку», подбрасывали ногой маленький утяжеленный кусочком свинца диск, обшитый тряпочкой. Полезное занятие для коленей и позвоночника после неподвижного сидения за партой! Такая игра среди ребят не наказывалась пинком по попе: человек делом занят!

В девятом и десятом классах ситуация на переменах изменилась. Наши классные комнаты располагались на верхнем, 5 этаже в отсеках коридора по разные стороны от актового зала. В таком отсеке в стандартной школьной постройке довоенных лет находился один кабинет (физики с одной стороны зала, химии — с другой стороны) и две классные комнаты. Во время пере-

мены учителя в отсек не заходили, приходили прямо к уроку, и у нас было от 5 до 10 минут досуга. Что мы делали? Как правило, гоняли по коридору импровизированную шайбу: деревяшку или настоящую шайбу; нужно было подвигаться. Естественно, в коридорах поднималась пыль. В теплое время, особенно во время большой перемены, — высказывали на улицу. А после уроков — на стадион (кажется «Энергия»), который был непосредственно рядом со школой. Там любимым занятием был футбол на настоящем травяном поле, но с волейбольным мячом, так как футбольный мяч был роскошью. Кстати, о школьных переменах: никаких школьных буфетов и школьных завтраков я не помню, их не было в те годы.

Любимым развлечением после школы было катание на велосипеде. У меня никогда не было хорошего велосипеда с лёгким ходом. Был велосипед Пензенского завода — тяжёлая машина. Потом мама купила мне ко дню рождения велосипед Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова (ЗиЧ), с никелированными колёсами, «гоночным» рулём, элегантный, но тяжёлый по весу и снова с тяжеловатым ходом. Тут я сам был виноват: мама предложила мне выбрать велосипед, а я заспешил (вдруг раскупят!) и кроме того польстился на внешний вид машины. Лёгкими на ходу были, например, немецкие велосипеды «Диамант», поступавшие к нам по репарациям. Купить такой велосипед было очень трудно: либо по сигналу из магазина, либо, если родители работали в тех учреждениях, где было привилегированное снабжение. У мамы возможностей и времени на такое не было. Однако, несколько страдая и уставая от тяжеловатого хода велосипеда, я всё же с энтузиазмом ездил в компании с Толей Шелухиным довольно далеко — к Измайловскому парку отдыха. Там перед главным входом были асфальтированы большие пространства, и мы кружились и кружились в своё удовольствие.

Кстати, вспомнил историческую деталь! В 40-е годы велосипед нужно было регистрировать в милиции и получать на него металлический номер, который крепился сзади, обычно под седлом. Всё в СССР было под контролем: завладеет враг велосипедом, а тут милиция и узнает, кто его «пособник», у кого он взял велосипед! Это, конечно, бред! Но так всех приучали к боязни и законопослушанию. Во время войны были конфискованы все радиоприёмники (чтобы не слушали пропаганду из-за рубежа). «Железный занавес» был опущен раньше, чем это название придумали наши союзники по борьбе с нацистами, англичане и американцы. Это название появилось в 1946 году (в выступлении У. Черчилля), а у нас «занавес» был уже во время Финской войны... или даже раньше.

Теперь о девочках. Это важный вопрос для старшеклассников. Но он в моём случае решался из рук вон плохо. Школа была мужской. Квартира наша была на отшибе от большого двора, где была какая-то жизнь. Женская школа располагалась в стороне от моих обычных путей. Девчонки ходили,

конечно, кататься на коньках, а я обычно — на лыжах, где их было меньше. Толя Шелухин два раза приводил ко мне домой своих соседок, послушать пластинки. Эти девочки оказались слишком примитивными, кроме того, сильно пахли потом, поэтому я попросил Толю избавить меня от них.

Был ещё оригинальный способ флирта: подготовка к экзаменам на Немецком кладбище. Тогда оно было полузаброшенным и заросшим, но чистым, без мусора. Теперь оно называется Введенским, активно функционирует, весьма ухожено и охраняется. В 1948–51 годах на нём хоронили мало. Тогда кладбище выглядело запущенным парком с большими липами и клёнами, и там, среди старых немецких памятников, некоторые школьники готовились к экзаменам. Экзамены — в июне, и комары — тоже в июне, нужно признаться, они сильно досаждали! А девчонки ходили туда для флирта со знакомыми ребятами, для романтики, но как-то у меня это не сложилось. Я к экзаменам готовился очень тщательно, а на кладбище это было невозможно. (Отлично звучит, если вырвать из контекста!)

Мои путешествия в ранней юности

Началом юности считается возраст примерно 14-ти лет. До этого возраста я несколько раз был с мамой на кавказских курортах, один раз в Ялте. Когда мне исполнилось 15 лет, в 1949 году, отец повёз меня летом в Крым, в Ялту на целый месяц вместе с Наталией Ивановной Киселевской и её сыном Толей (13 лет).

Мы ехали поездом от Москвы до Симферополя. Так же ездят и сейчас. По дороге мы на какой-то станции купили вишню (был сезон спелой вишни). С непривычки или от того, что ягоды были плохо вымыты, у меня в поезде случилось жестокое расстройство желудка. Однако отец вылечил меня за несколько часов. Он хорошенько напоил меня красным вином, я впервые в жизни опьянел, заснул, и всё прошло. В Симферополе мы сели в старый легковой автомобиль и поехали через перевал в Ялту. Тогда ещё не было широкой верхней трассы от перевала до Ялты (и дальше — на Симеиз и Севастополь). Мы ехали по старой узкой дороге с многочисленными серпантинами, спусками и подъёмами. В результате меня укачало и тошнило, но этот эффект автомобильной езды оказался последним в моей жизни на суше. Я адаптировался, возможно, потому, что именно в то лето повзрослел и начал выходить из переходного возраста. Потом со мной такая «морская болезнь» была только во время рейса на научном судне «Профессор Дерюгин» на Баренцевом море в 1954 году.

В Ялте отец и Киселевская жили в санатории «Аэрофлота», а для нас с Толей сняли комнату на втором этаже одного из двухэтажных домов, что и сейчас стоят на парадной набережной Ялты. Сейчас, в XXI веке, на первых



С отцом в порту Ялты. Лето 1949 года.

этажах этих зданий — дорогие магазины и рестораны, и на вторых этажах вряд ли ещё кто-то живет: там офисы и снова — рестораны. А в 1949 году наша комната на втором этаже выходила на длинную просторную террасу, обращённую во двор. Даже ночью дверь в комнату не закрывалась, потому что было жарко, а понятия о кондиционерах в те годы не было, и воровать в комнатах тоже было нечего. Наш хозяин был рыбаком в рыболовецком колхозе. Минуло 5 лет после освобождения Ялты от оккупации немцами (1942–1944 гг.) и она была милым провинциальным городком. Кораблики рыболовецкого колхоза швартовались тут же — в миниатюрном ялтинском порту.

У хозяина комнаты и у его соседей были хорошие морские шлюпки. Хозяин оценил мои длинные руки (а мой рост уже достигал примерно 178 см), и научил меня правильно грести, правильно ставить на волне лодку носом против волны и быстро сталкивать и вытаскивать её на пляж во время прибоя. Плавать я уже умел, и воды, и волны не боялся. Хозяин доверял мне ключ от замка лодки, и я катался на ней несколько раз. Старался — без Тольки. Он был помельче, и ему было ещё рановато прыгать на волне, сил не хватало. Потом-то, с годами, он стал, пожалуй, покрепче меня. В то лето я познакомился и с другими местами на Южном берегу Крыма и полюбил его.

На следующее лето 1950 года, после окончания 9-го класса, когда мне исполнилось 16 лет, и рост точно достиг 180 (или более) сантиметров, я поехал на один месяц в дом отдыха МГУ в Геленджике, на Кавказском побережье Чёрного моря. Меня по маминой просьбе взяла с собой молодая супру-



*На шлюпке или без неё я любил развлекаться в волнах прибоя.
Ялта. 1949 год.*

жеская пара: мамина любимая медсестра с мужем. Мне было интересно жить со студентами. Они оказались из разных вузов, не только из МГУ. Они были довольно интеллектуальными и доброжелательными ребятами, закончившими первый-третий курсы.

Посёлок Геленджик в те годы занимал часть берега большой округлой бухты, отгороженной от моря двумя мысами: Северным и Южным. На мысах, по-моему, жилых домов почти не было, а на одном из них располагался аэродром военно-морской авиации. Я с удовольствием наблюдал, как в определённое время дня с мыса взлетали военные одномоторные самолёты, типа истребителей, беззвучно летали где-то над морем (звука не было слышно, когда они отлетали подальше), а потом возвращались и садились на мыс. Тут до нас долетал ослабленный расстоянием звук двигателей винтомоторных самолётов.

Дом отдыха МГУ стоял в просторном пустоватом городском парке. Сейчас, наверное, Геленджик порядочно застроен и разросся по краям. А в 1950 году это был провинциальный одноэтажный городок на берегу большого и чистого залива. Я тогда решил, что являюсь уже умелым пловцом, и однажды поплыл к центру залива. Залив этот имеет диаметр около пяти километров. В сторону от берега я плыл и плыл, а потом подустал и решил возвращаться. И тут я понял, что сил у меня осталось мало и начал немного паниковать, а потом вообще решил, что могу не доплыть и утону. Ощущение это было совершенно серьёзным. Я тогда ещё не знал, что лучше и с меньшей затратой сил можно плавать на спине, но всё же немного отды-



*Юра Богданов и Толя Иванов в Никитском ботаническом саду.
Крым. 1949 год.*

хал, поворачиваясь на спину, и шевелил руками и ногами, чтобы остаться на плаву. А потом снова переворачивался и плыл, как мог, лицом вперёд. Совершенно измученный и напуганный я добрался до той глубины, где почувствовал дно под ногами, иначе бы не было этого рассказа...

Об одноклассниках

Наш «Б» класс был удивительным: в нём училось более полудюжины отличников и все они были нормальными ребятами, без комплекса зазнайства или комплекса «маменькиных сынков». Все охотно гоняли футбольный мяч (и шайбу) по коридору, ходили на каток и были в курсе дел большого спорта, войны в Корее (которая началась в 1950 году), и в прочих делах, интересовавших нормальных, здоровых мальчишек.

Был в классе один инвалид с изуродованными детским полиомиелитом ногой и рукой. Его фамилия была Глаголев, и он в чём-то напоминал мне образ Человека в футляре Чехова. Я, безусловно, совершаю грех таким сравнением, но это было не только моё мнение. Он к тому же был тихим «фискалом», доносчиком, но «на обиженных Богом не обижаются», и его не трогали. Жестоких ребят не было. Завалишин — не в счёт. Он тоже не отличался жестокостью, просто был шпаной. Кстати, после девятого класса он исчез. Говорили, что сел в тюрьму.

Мне почему-то интересно вспомнить об одноклассниках и описать тех, кого не забыл. Может быть потому, что после окончания школы мы с мамой



В доме отдыха МГУ. Третий слева — девятиклассник Юра Богданов среди студентов. Геленджик. 1950 год.

уехали из Лефортова в район метро «Автозаводская», и я лишь один раз был на вечере встречи выпускников школы и потерял связь со всеми, кроме Толи Шелухина. А может быть интересно вспомнить, несмотря на то, что потерял связь. Хотя, кажется, это одно и то же. Кстати, из моего описания читатель поймет, с кем из ребят мне было интересно общаться.

Твердых и «круглых» отличников было пятеро или шестеро. Начну с троих. Это были Витя Абрамов, Сергей Бычковский и Додик Юдин. Сергея звали именно так, а не Серёжа — это почему-то общая тенденция в отношении большинства Сергеев. Эти трое всегда сидели рядом, причем в конце класса, по диагонали от нас с Толюнчиком (мы сидели у окна за третьей партой, но первые две перед нами были пустыми).

Бычковский и Юдин сидели за одной партой. Они дружили между собой. Абрамов обычно сидел с Володией Шумиловым, о котором речь пойдет позже. Мама Виктора Абрамова была уборщицей или санитаркой в Главном военном госпитале им. Бурденко. Он и жил на территории этого госпиталя, и имел пропуск на эту территорию, что было предметом зависти для нас. Иногда кто-то из класса ходил к нему в гости. Это требовало хлопотной процедуры выписывания пропуска. Он умел проводить гостей через секретную дыру в ограде, но только тех, в ком он был уверен, что они не будут злоупотреблять знанием этого пути, и не разболтают о «тайной» дыре. Он, Виктор Абрамов, был от природы способным человеком: ведь особого воспитания никто ему не мог дать. Видно было, что он жил бедно. У него

была репутация хорошего и трудолюбивого парня, к которому все относились с уважением. Рост — выше среднего, с крупным лицом и неизменно длинными прямыми волосами, которые он постоянно отбрасывал со лба, чтобы не мешали. Нередко он был заводилой в каких-то коллективных делах, например, инициатором «сорваться» с урока, но он же говорил: «Ребята, хватит, пошли в школу!», и его слушали.

Сергей Бычковский и Додик Юдин росли в семьях образованных людей. Однако Сергей был сиротой и жил с бабушкой-учительницей, а Додик происходил, как мне кажется, из семьи людей с техническим или физическим образованием. Оба они были высокими, Сергей — худой, со впалой грудью и лицом, несколько похожим на Шопена. Вид у него был туберкулёзный (если правильно помню, он действительно страдал этим недугом). Додик был блондином крепкого телосложения, с довольно обыкновенным и флегматичным лицом и уравновешенным характером, а Сергей иногда вспыхивал взором и был эмоционален.

Ещё два отличника — Боря Лифанов и Петухов (имя его забыл). Оба парня были высокого роста. Лифанов — плотный, с густой копной тёмных бронзово-рыжеватых волос, закрывавших лоб, и тенденцией к веснушкам. Петухов — стройный, спортивного вида тёмный шатен или брюнет. Лифанов часто блистал на уроках математики, и вообще отличался способностями. Про Петухова помню меньше, просто они с Лифановым сидели за одной партой. Помнится, у нас учился Птичкин, симпатичный парнишка среднего роста, тоже из категории отличников.

Еще двумя мальчишками из разряда, близкого к отличникам, были Женя Шемякин и Володя Черноморский. Кажется, время от времени они выходили в разряд «круглых» отличников в отдельных четвертях. Я до сих пор зрительно помню, кто и где сидел в 9-ом и 10-ом классах. Эти двое тоже сидели вместе, на предпоследнем ряду, непосредственно за Лифановым и Петуховым.. Время от времени учителя их хвалили: то за сочинения, то за контрольные по математике. Вот такой был класс! Все перечисленные ребята-отличники давно, чуть ли не с первого класса, учились в 417-й школе и были хорошо «притёрты» между собой.

Теперь о Володе Шумилове, самом старшем в классе; родился он, мне кажется, в 1932 году (а может, на год раньше?). Это был коренастый мужчина (именно так он выглядел на фоне остальных), с лицом человека явно старше всех нас, с фигурой гимнаста, да он и являлся лучшим среди нас гимнастом (и «разряд» имел) и вообще заметным на уроках физкультуры. Он был неизменным старостой класса, мягким добрым человеком, авторитетом в житейских ситуациях, но ненавязчивым и как бы держащимся в тени Виктора Абрамова. Они сидели за одной партой и вместе представляли собой пару ненавязчивых лидеров класса.

Позади нас с Толей сидел Витя Нагорнов — симпатичный и умный мальчишка из инженерно-технической семьи и сам с такими же интересами. Мы как-то с ним сошлись в последнем классе. Боб Шальнов занимал место где-то позади Нагорнова, у окна. После ухода его напарника, Вали Невзорова, в училище ГВФ он остался как-то сам по себе. Он был сыном учительницы (но из другой школы), которую знали наши учителя. Боря был способный парень. Кстати, мама Толи Шелухина тоже преподавала, но в младших классах. В отношении аккуратности в учёбе Толя был вымуштрован ею.

Куда поступать после школы?

В девятом классе я стал размышлять о том, куда поступать после окончания школы. Конечно, на меня действовал родительский пример. Взрослеющим детям, выбирающим профессию, бывает легче согласиться заняться делом родителей, чем выбрать себе другую среди моря неизвестных им профессий. С детства я слышал дома разговоры о медицине. На книжной полке стоял четырёхтомный «Атлас анатомии человека», и я листал его. Родители иногда рассказывали об интересных для них операциях, об удачах и проблемах. Мне было интересно, но я чувствовал, что не смогу работать хирургом: руками я был не слишком мастеровит. Но терять воспринятое от родителей представление о человеческом организме, об удивительной гармонии в регуляции сложных систем организма и красивой анатомии человеческого тела мне не хотелось, и я принял решение стать физиологом.

Как раз к моменту окончания 9-го класса вышел из печати трёхтомник избранных работ физиолога Ивана Петровича Павлова. И вообще, в прессе была шумиха по поводу его учения об условных рефлексах. Прошла сессия двух академий, посвящённая этому учению (и запрету отклоняться от «великого учения Павлова» или от «учения великого Павлова»). Я купил этот трёхтомник и прочёл главные статьи из него. Кстати, отметил интереснейшие опыты по нервной регуляции пищеварения. Именно за эти опыты И. П. Павлов получил Нобелевскую премию в 1903 году, а не за условные рефлексы. Но желудок и кишки — это прозаично, а мозг, сознание, умственная деятельность — это загадочно и романтично, исследования в данной области будут полем для новых открытий. Я решил, что нужно посвятить себя этой деятельности. Но поступать решил не в мединститут, а в университет, где на биологическом факультете есть кафедра физиологии человека и животных. Перед принятием окончательного решения я всё-таки разузнал о других специальностях и вузах. Отец познакомил меня с преподавательницей или научным сотрудником исторического факультета университета. Кажется, её фамилия была Юзбашева. Я увлекался историей и читал кое-что за рамками школьной программы. Однако рассказ этой

дамы покончил с моими размышлениями: не стать ли историком? Она объяснила, что заниматься историей — значит сидеть годами в библиотеках или выкапывать черепки из земли, очищать и описывать их, но не надеяться на открытия, ибо открытия в археологии и истории — это редкость. Нет! Уж лучше — сидеть в лаборатории и выезжать на природу, а не в чёрные ямы под Новгородом!

Посетил я и Московское высшее техническое училище им. Баумана (МВТУ) — прославленный технический вуз страны. Посидел там на «Дне открытых дверей», уже не помню какого факультета, и прошёлся по каким-то учебным классам этого вуза. Наша школа стояла в окружении технических вузов: МЭИ (Московский энергетический институт), МВТУ, Автодорожный институт. Большинство школьников нашего класса думали о технических профессиях. А у меня не было интереса и способностей к технике.

Борьба за школьную медаль

Для поступления в вуз мне нужно было решить главную проблему: преодолеть свою задержку речи, заикание. Иначе мне было бы не сдать вступительных экзаменов. В те годы закончившие школу с медалями поступали в вузы без экзаменов, проходили лишь собеседование. Это проще: сядешь рядом с экзаменаторами и будешь отвечать на вопросы. И я решил, во что бы то ни стало, добиваться получения медали. Для этого нужно было уже в девятом классе получить годовые отметки «5» по географии и астрономии, и я с самого начала 9 класса преследовал эту цель и достиг её.

В десятом классе я самостоятельно установил для себя очень строгий режим учёбы. Во-первых, старался строго соблюдать режим дня, ибо понял, что в хорошем тонусе, в состоянии бодрого организма я лучше владею речью. Во-вторых, понял, что при очень хорошо выученном уроке мне легче отвечать, формулировать мысль. Кроме того, у меня была хорошая зрительная память, и я часто помнил «зрительно», что и как написано в учебнике. Должен признаться, что тогда я начал скатываться на прямую зубрёжку. Она мне помогала на уроках истории, ибо учительница требовала чётких формулировок из учебника о тех или иных событиях. Помогало это и в запоминании формулировок теорем в математике, и законов в физике и химии. Я понимал, что зубрёжка — примитив, но меня она выручала. Однако не всё поддавалось зубрёжке. Требования по литературе, которые нам предъявляла Нина Осиповна Белинская, были серьёзными. Я записался в Ленинскую библиотеку, в общий зал, и раз в неделю читал там некоторые первоисточники и критические статьи по русской и советской литературе.

Приготовление домашних заданий в десятом классе требовало не менее пяти часов, и я ввёл строгое ограничение на развлечения в дни учёбы, то есть на шесть из семи дней в неделю. Я перестал по будним дням ходить в кино, на каток зимой и кататься на велосипеде осенью и весной. Другое дело — поиграть часок в футбол на стадионе «Энергия» рядом со школой сразу после пятого или шестого урока (а лучше — вместо какого-то из шести уроков), или минут 40 покататься на лыжах в овраге у дома. Через час после того, как вышел из дома, можно снова сидеть за письменным столом, в то время как каток или кино требовали гораздо большего времени. А медаль мне была жизненно необходима!

Теперь я собираюсь решить задачу, данные для которой я стал забывать. А ещё 10 лет назад я всё помнил точно. Это я оправдываюсь по поводу того, что иногда мои читатели удивляются, что я, 60 лет спустя, вспоминаю некоторые подробности. Не удивляйтесь! Помню не всё, и кое-что всё-таки начал забывать.

Так вот, помню, что в нашем 10 Б классе оказалось 9 (девять) медалистов, из них двое — с золотыми медалями, а в 10 А — только два медалиста. Итого, 11 медалистов в нашем выпуске из двух классов (примерно 60 человек), т. е. в среднем 20 %, а в нашем классе — почти 30 %. Но один наш класс — это маленькая выборка, меньше 30 человек, и по теории вероятности цифра 30 % в этом случае не достоверна. А 20 % из двух классов (около 55 человек) — это достоверно.

Пытаюсь вспомнить всех медалистов нашего класса: Абрамов (золотая медаль), Бычковский и Юдин (серебряные), Лифанов (золотая?), Петухов (может быть, золотая — у него?), Птичкин, Шемякин, Черноморский (или Шальнов?) и Богданов. Моя фамилия в списке серебряных медалистов была непредсказуемой даже для меня. Ведь мне было трудно отвечать на экзаменах устные предметы! Так вот, учителя договорились о письменном опросе для меня на устных выпускных экзаменах. Не сомневаюсь, что директор школы, Куша, сыграл в этом решении ведущую роль. Н. О. Белинская, преподаватель русского языка и литературы, тоже наверняка поддержала. Я ожидал, что у меня будет «4» за сочинение, а все остальные в аттестате — пятёрки. Ан нет! Оказалось — «5» за сочинение, и три отметки «4»: по тригонометрии (несправедливо!), по геометрии (тоже не очень справедливо) и по химии. Оценка по химии, пожалуй, была логична, ибо по сумме четвертей в 10 классе отметка по химии была «4».

Приятным в 417 школе было то, что в новом для меня классе ребята сразу стали меня звать Богданыч. Мне это казалось уважительным. Ещё более интересно, что когда я поступил в университет, мальчишки на курсе тоже сразу стали меня звать Богданыч, хотя никого из нашей школы на биофаке

в университете не было. Значит, это просто какая-то языковая закономерность кличек в те годы. Но она — приятная.

После сдачи выпускных экзаменов мы с удовольствием покинули школу. Последние годы учёбы в ней многим казались пребыванием в казарме. Наша школа была очень неудобной: пыльной, убогой, с голыми грязноватыми окнами, затоптанным полом, старыми, кондовыми и неудобными партами. Да и сама система уроков и заданий на дом была утомительной и примитивной.

Поступление в университет

Я подал документы на биофак МГУ и легко прошел собеседование. Главной фигурой на собеседовании была профессор Ф. М. Куперман, ярая «лысенковка», недавно переехавшая в Москву, кажется, из Кемерово. Она спрашивала меня о решениях сессии ВАСХНИЛ¹, состоявшейся в 1948 году и осудившей классическую генетику как «буржуазную лженауку». Я хорошо помнил, чему нас обучали в школе на эту тему, и благополучно ответил казёнными словами. Я тогда ничего не знал о классической генетике и верил официальной пропаганде. Разбираться понемногу с помощью однокурсников стал через 1–2 года. Через 4 года уже имел полное представление о том, что ошельмованная классическая генетика является настоящей наукой, а придуманная академиком Т. Д. Лысенко «мичуринская биология» — настоящей лженаукой. В этом прозрении сыграли роль не только однокурсники, но и некоторые учёные биофака, и учёные, работавшие за пределами биофака и университета. Важную роль сыграло знакомство со студенткой одного из младших курсов, моей будущей женой и матерью наших детей, Наташей Ляпуновой. Благодаря своему отцу Алексею Андреевичу Ляпунову, математику, настоящему учёному, сотрудничавшему со многими первоклассными учёными, в том числе с генетиками, Наташа узнала раньше меня о фальсификациях в биологии и в науке вообще, о разрушительном влиянии партийной идеологии на науку. Завершением процесса моего прозрения в области истинной и фальшивой науки было развенчание культа Сталина (1956 год), который сознательно внедрял мракобесие в науку — для контроля над умами.

О моих студенческих годах я написал в очерке: «Биофак МГУ глазами студента 1951–1957 годов». Этот очерк опубликован в моей книге: «Очерки о биологах второй половины XX века»². Там же можно найти мои воспоминания о некоторых университетских друзьях и преподавателях.

¹ ВАСХНИЛ — Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина.

² Ю. Ф. Богданов. Очерки о биологах второй половины XX века. — Товарищество научных изданий КМК. М. 2012.

Очень важно сказать о том, что стрессовая задержка речи у меня практически прошла (т. е. я перестал испытывать стресс и заикаться) на втором курсе университета. На первом курсе я ещё боролся с нею на семинарах по марксизму и занятиях английским языком. Боролся, в основном, методом уклонения от устных выступлений перед всей учебной группой. На экзаменах проблем не было, ибо все экзамены проходили в виде бесед с преподавателем, и страха перед публичным выступлением не было. А избавление произошло неожиданно и публично. Шло комсомольское собрание курса. Выступала комсомольская активистка и безапелляционно говорила, что на субботнике мальчики и, в частности, такой-то и такой-то бездельничали, в то время как девочки... и т. д. Я «взорвался», и с верхнего ряда Большой зоологической аудитории скатился вниз, встал рядом с ней и возмущенно заявил, что она просто не видела, как мальчики в дальнем углу ботсада корчевали пни, делали самую тяжёлую работу. Темпераментно объяснял, что возмущительно говорить о том, чего не видела и не знаешь,...произносил свою эмоциональную речь, и вдруг начал понимать, что я выступаю перед всем курсом, говорю и не боюсь, и нет задержки речи и заикания! Ура! Я вышиб клин клином! Сбросил с себя то, что мне мешало. Мой мозг преодолел постоянный гнетущий стресс с помощью внезапного сильного положительного стресса, который вдохновил меня.

Как я уже написал где-то в середине моего рассказа, небольшие остаточные явления — трудности произношения слов — у меня лишь изредка встречаются в состоянии усталости, переутомлённого общего состояния. От подобного никто не застрахован.

Ещё в школе я научился сдавать экзамены. Они устраивались ежегодно, начиная с четвертого класса. Штурмуя школьную программу в девятых и десятых классах, стараясь вытянуть все предметы на «пятёрку», шлифуя план и формулировки ответов, я научился хорошо заниматься по книжкам. Это помогло в университете, где объём учебников оказался существенно бóльшим, чем это было в школе. Вероятно, по этой причине я начал лихо сдавать экзамены в университете. В итоге, к концу второго курса я оказался круглым отличником и первым кандидатом на Сталинскую стипендию — повышенную, а главное — престижную. Но сорвалось: весеннюю сессию второго курса я сдал, лёжа на кровати в «мамино» госпитале инвалидов войны (!). У меня случился тяжёлый перелом ноги. Об этом читайте в книге «Хирург Фёдор Богданов» в очерке «О моём отце...». Смог сдавать эту сессию в госпитале благодаря тому, что мои друзья и особенно Алёша Яблоков организовали приезд преподавателей-экзаменаторов ко мне в палату. Но в госпитале нельзя было сдавать экзамен по военной подготовке. Образовалась задолженность, а я не догадался (и никто не подсказал) сразу пойти на медкомиссию с палочкой и получить временный «белый билет» —

освобождение от армии и военной подготовки. Сделал это только осенью, когда итоги второго курса были уже подведены, и у меня, при круглых пятёрках, оставался «хвост» по военной подготовке (который тут же «отпал», когда я прошёл медкомиссию в военкомате). Сталинскую стипендию (а её давали одну на курс) получила Эля Итакаева (впоследствии — Петрова). Я не расстраивался и вообще не обратил на всё это внимания, да и узнал обо всей коллизии, о том, что я был кандидатом на эту стипендию, сильно *post factum*. Гораздо более существенным для меня было вылечиться от очень серьёзного перелома ноги и вернуться через год к нормальной ходьбе и даже путешествиям, например, в тундру, а потом — в горы.

О летних студенческих каникулах и практиках

В завершение повести о юности, хочу рассказать о некоторых моих юношеских путешествиях. Это — более веселая «материя», чем рассказ о лженауке и психологии учёбы. Я любил и люблю путешествовать. Если бы я избрал специальность, не связанную с обязательной многочасовой и многодневной работой в лаборатории, то, скорее всего, путешествовал бы гораздо больше. Про некоторые поездки в студенческие годы я написал в книге «Очерки о биологах...», в частности, в очерке о моём друге Вадиме Фрезе. Это была экспедиция в 1952 году на Рыбинское водохранилище и впадающие в него реки Шексну и Мологу. Ещё были у меня три запомнившиеся смолоду поездки. В 1954 году — на Белое море (Беломорская биологическая станция МГУ) и на Баренцево море, в мурманскую тундру (Биологическая станция АН СССР в Дальних Зеленцах). В 1955 году — в альплагерь «Алибек» в западной части главного Кавказского хребта и оттуда поход с харьковскими студентами-географами через Домбайскую поляну и ледник Бу Ульген на ледник Чотча и к Клухорскому перевалу. В 1956 году — на Севастопольскую биостанцию АН УССР, а оттуда — в Балаклаву и по древним пещерным городам Крыма: Иски-Кермен и Чуфут Кале. Про «Алибек» я кое-что, но далеко не самое интересное, написал в очерке «О моём отце...» (см. книгу «Хирург Фёдор Богданов»). В те же годы я, благодаря моему однокурснику и другу Алёше Яблокову, с увлечением, хотя и со скромными трофеями, занимался охотой в лесах Владимирской, Калининской (ныне — Тверской) и Ярославской областей.

Желание путешествовать у меня не иссякнет, пока буду в состоянии ездить или меня будут возить, даже если ноги будут ходить так же плохо, как сейчас. Изучать мир и получать новые впечатления для меня — самое интересное.

Часть V

НАЧАЛО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

Первоначально я хотел ограничить эти мемуары описанием моего детства и юности, и закончить поступлением в университет. А дальше, мол, читайте (кое-что) в других моих мемуарах, в тех же «Очерках о биологах...», где я пишу о годах студенчества и о многом другом. Но в «других» мемуарах содержится лишь мозаика событий моей молодости, и я решил добавить то, что, мне кажется, будет интересно детям и внукам. Для семейного архива, скорее всего, нужно рассказать о том, что называется «личной жизнью»: женитьба, рождение детей... Для более или менее полной картины пришлось бы увеличить объем мемуаров вдвое... Это было бы вдвое труднее читать, и я ограничиваюсь «пунктирными» заметками. Но потом придётся написать отдельный очерк или книжечку о студенческих и аспирантских годах, о жизни нашей молодой семьи, об увлечённом занятии наукой. А сейчас — бегло о том, что хочется не упустить и чем нужно поделиться.

О девушках

С первого курса университета я принялся искать девушку, за которой мне хотелось бы поухаживать. Нравы тогда были целомудренные, не то, что сейчас. Безусловно, сказывалось разделение на мужские и женские школы. Впервые половозрелые мальчики и девочки оказывались в повседневном контакте, на одной скамейке в учебной аудитории, сразу после окончания школы.

Всего на курсе нас было человек около 200, из них мальчиков — меньше 50. Соотношение полов — выгодное для выбора девушки. Однако внешне привлекательных девушек на нашем курсе было маловато. На одну из них, Зою Титову, я обратил внимание быстро. Она была стройной русоволосой девушкой с серо-зеленоватыми глазами. Я стал провожать её домой. Она жила где-то в районе нынешнего стадиона «Олимпийский», в нескольких кварталах хода от метро «Проспект Мира». Тогда и стадиона не было, и станция метро не так называлась, и проспект Мира назывался 1-ой Мещанской улицей. Но, как известно, небо тогда было более синим, солнце светило ярче, вода была мокрее, и вообще всё было очень интересно, ибо многое встречалось впервые. Однако довольно скоро мы с Зоей взаимно охладели друг к другу. Мне помнится, это случилось в начале второго курса. Даже помню, кто мне сказал (конечно, другая девушка!), что Зоя ещё на лыжных сборах зимой первого курса без надежды на взаимность увлеклась нашим однокурником и моим другом Алёшей Яблоковым. А он ухаживал за Элей

Бакулиной. После летней практики первого курса мы разъехались в разные стороны: я с Вадимом Фрезе в экспедицию на Рыбинское водохранилище, а Зоя — не знал куда, думал, что — в спортлагерь МГУ. Она была спортивной девушкой, я — не слишком спортивным юношей. Позже я узнал, что она ездила не Беломорскую биостанцию МГУ (ББС). Это по цели поездки было близко к моей экспедиции на Рыбинское водохранилище, но, тем не менее, восприятие мира и интересы у нас не совпадали. На втором курсе мы уже, как помнится, не очень думали друг о друге.

В год окончания университета, летом 1956 года Зоя вышла замуж за красивого, умного и по-европейски воспитанного молодого человека, участника войны, а в тот год — аспиранта кафедры биофизики Грегора (Гришу) Курелла. Они стали гармоничной парой. Гриша был заметным и популярным человеком на факультете. Он отличался дружелюбным и жизнерадостным характером, общение с ним было лёгким и приятным. Он увлекался «интеллектуальными» видами спорта: горными лыжами, байдаркой, и приобщил к ним Зою.

О Грегоре Курелла стоит рассказать подробнее. Его детство и молодость — зеркало некоторых страниц европейской истории. Грегор был сыном немецких коммунистов-антифашистов. Жизнь родителей сложилась так, что им пришлось расстаться и бежать из Франции в 1924 году, когда мама уже ждала рождения Грегора, так как они преподавали марксизм во французских подпольных кружках, и их начала преследовать полиция. Грегор родился в мае 1925 года в Германии, но в марте 1933 года, после прихода к власти Гитлера, мама вместе с 7-летним Грегором снова была вынуждена бежать. Теперь она бежала из Германии во Францию, а потом в Москву, и стала медицинским работником в ГИФО — том самом институте, в котором до 1931 года работала моя мама. Отец Грегора-Гриши, Альфред Курелла, уже работал в Москве, в Коминтерне, помощником знаменитого Георгия Димитрова¹. Гриша увлекался биологией и стал членом КЮБЗ². В 1942 году 17-летним юношей Гриша был мобилизован в Красную Армию и, начиная со Сталинграда и до конца войны, до освобождения Австрии, был в советский войсках антинацистским агитатором и военным переводчиком на передовой линии фронта (листовки и громкоговорители на немецком языке для немецких солдат). Как он рассказал мне при нашей встрече в мае 2013 года, он, отслужив семь лет в Красной Армии, с трудом и со скандалом вырвался из армии в 1949 году, когда уже был зачислен на биологический факультет МГУ. В 1954 году Гриша закончил кафедру физиологии животных, на кото-

¹ Георгий Димитров был председателем Исполкома III Коммунистического Интернационала.

² КЮБЗ — Кружок юных биологов зоопарка. Через КЮБЗ прошли многие отечественные биологи.



Зоя Титова (слева), 1952 год, и Наташа (Ната) Селицкая. 1955 год.

рой я, студент четвёртого курса, в тот год начал вести экспериментальную работу. Гриша стал аспирантом кафедры биофизики. Мы знали друг друга как студенты, а потом периодически встречались на разных научных конференциях на протяжении 50 лет после окончания университета. У Гриши и Зои сложилась хорошая семья и насыщенная жизнь.

После третьего или четвёртого курса Алёша Яблоков женился на Эле Бакулиной, а я начал ухаживать за Наташей Селицкой. В паспорте её имя было написано как Ната (украинский вариант имени). Темноволосая, с серыми глазами, серьёзно выглядевшая девушка была, пожалуй, самой авторитетной в своей группе на младших курсах, и это меня интриговало и привлекало к ней. Помню, что именно из-за этого я задался вопросом: а смогу ли я заинтересовать её? В 1954–55 годах (на 4 и 5 курсах университета) я бывал у Наты в гостях, познакомился с её строгой мамой и очень симпатичным отчимом, полярным лётчиком 1930–40-х годов, который в годы нашего студенчества уже служил в наземных службах гражданской авиации. Познакомил Нату и с моим отцом.

Мы выезжали вчетвером в дальние походы на природу и на охоту: мы с Натой и Алёша с Элей. Напоминаю: это была эпоха целомудренных отношений до женитьбы. Ната обладала лукавым юмором, но вскоре мне стало с ней скучно. В ней, увы, не было природной живости и того кокетства, которое раззадоривает юношей. Я ощутил, что любви к Нате у меня нет, а вступить в брак только потому, что «она хорошая», а мне пришло время жениться, означало жениться до следующей влюбленности или до настоящей любви к другой.

В 2004 году, на вечере встречи нашего бывшего курса мы с Натой вспоминали нашу дружбу 50-х годов, и я убедился, что при всей мягкости её характера и «положительности» она не могла долго оставаться для меня интересной. После окончания университета Ната ездила на стажировку в Ленинград в Ботанический институт АН СССР и в экспедиции на Дальний Восток, а затем вышла замуж за капитана речного флота, жившего в городе Горьком (теперь — Нижний Новгород). Он тогда занимал высокую должность, называвшуюся «Регистр Волжского речного пароходства», а Ната Михайловна Селицкая, ставшая Вишневской, преподавала ботанику в Горьковском университете.

На старших курсах я активно занялся работой в научном студенческом обществе. Подробнее я написал об этом в упомянутых «Очерках о биологах второй половины XX века». Меня назначили (именно так) председателем научного студенческого общества факультета, и на этой «ниве» я познакомился с Наташей Ляпуновой, студенткой второго курса. Она была избрана в факультетское бюро комсомола и отвечала в нём за организацию научной работы студентов. Постепенно между нами начался роман на почве интересов к науке, одинаковых вкусов (например — в музыке, в оценках искусства, во взглядах на жизнь). Наташа просветила меня в генетике, и я открыл для себя новый научный мир. У нас был общий, интересный для неё и для меня, знакомый, Коля Воронцов, который, начиная с моего первого курса, нравился мне своей эрудицией и увлечённостью наукой. Он ухаживал за старшей сестрой Наташи, Еленой (Лялей). Когда обе сестры были на втором курсе, он женился на Ляле Ляпуновой. А когда Наташа увлеклась мной (а порядок событий был именно таким), то он приложил «дипломатические» усилия, чтобы сблизить меня с ней. И это ему удалось.

Я был бы нечестен, если бы не сказал, что немалую роль в сближении меня с Наташей (по-домашнему Тусей) сыграл отец Туси, Алексей Андреевич Ляпунов. Вокруг него существовала создаваемая им атмосфера интеллектуальности и разума. И ещё к его дому привлекало людей ощущение тёплой семьи, окружавшей его. Семейное тепло создавали Алексей Андреевич и Анастасия Савельевна. Их зятьями в 1950-е годы стали три молодых человека, жившие в детстве в неполных семьях (без отцов или как я: с отцом, но лишь месяц в году). В порядке старшинства по возрасту это были Юра Виноградов (инженер-электронщик), женившийся на падчерице А. А. и старшей дочери А. С. — Алле Гамбурцевой, Коля Воронцов (биолог), женившейся на Елене (Ляле), и я, Юра Богданов, женившийся на Наташе (Тусе). Три молодых человека, привлечённых необыкновенным тестем — это, конечно, мало для статистики, для утверждения, что молодые люди, воспитанные без отцов, предпочитают жениться на девушках, которых воспитывали отцы. Для статистики — мало, но для моего субъективного



Весна 1955 года. Студенты-первокурсники биофака МГУ со своим куратором от деканата, аспирантом Грегором Курелла (в верхнем ряду первый справа). Наташа Ляпунова — в первом ряду вторая слева.

ощущения это было важно. Присутствие отца в семье притягивало меня к ней. При всём при этом, нам, зятьям Ляпуновых, вскоре захотелось жить отдельно от родителей наших жён, но важность для нас «семейного центра» в виде А. А. и А. С. осталась с нами на всю жизнь. Я не опрашивал на эту тему своих «молочных братьев, вскормленных грудью Ляпунова» (как нас прозвал наш общий друг Олег Орлов) — Виноградова и Воронцова, но уверен в их согласии с такой оценкой.

Мы (зятя) сначала, по очереди, поселялись в доме Ляпуновых, а потом их дочери вместе с нами, зятями, покидали родителей. Но воспитанная в дочерях привычка иметь в доме главу семьи, мужчину, осталась. А дочери и мы, их мужья, с удовольствием тянулись в «Ляпуновский дом». Хочется, чтобы об этом доме наши с Тусей дети и внуки знали как можно больше, и они найдут много важного в книге Н. Н. Воронцова «Алексей Андреевич Ляпунов. Окружение и личность», изданной в 2011 году Еленой Алексеевной Ляпуновой, и в сборниках «Алексей Андреевич Ляпунов. К 90-летию со дня рождения» (Новосибирск, 2001 год) и «Алексей Андреевич Ляпунов. К 100-летию со дня рождения» (там же, 2011 год).

Одним из организаторов, составителей и редакторов этих содержательных книг была Наталия Алексеевна Ляпунова, мама и бабушка наших детей



Наташа (Туся) Ляпунова. 1956 год.

и внуков. Наши дети и внуки должны знать о её выдающейся деятельности по увековечиванию памяти её отца, их деда и прадеда. Дети-то кое-что знают об Алексее Андреевиче, а нашим внукам стоит узнать многие вещи точно: чем занимался, когда и что сделал в науке их прадед Алёша. Высшее образование позволяет Андрею и Николаю Богдановым и их детям многое понять и запомнить о чрезвычайно интересной и плодотворной научной и педагогической деятельности Алексея Андреевича Ляпунова. Надеюсь, что лет в 60 им захочется узнать о своих предках больше, в том числе и о деду Фёде, о моём отце. А для этого стоит прочесть книгу «Хирург Фёдор Богданов» (Екатеринбург, 2000 год) или «Документы и фотографии о В. Я. Тарковской и Ф. Р. Богданове» в «Приложении» к книге, которую вы сейчас читаете.

Женитьба

Мы женились с Тусей в мае 1958 года, когда я уже был аспирантом в Ленинграде, а она переходила на последний, пятый курс биофака МГУ, и 10 апреля 1959 года родился Андрей, а 6 апреля 1968 года — Николай.

В 2008 году майским путешествием в Крым мы отметили 50-летие нашей женитьбы, «золотую свадьбу», а летом того же 2008 года сыновья и внуки устроили нам замечательный праздник в саду на даче в Мозжинке с друзьями нашего детства и молодости.

Как прошли эти годы? Если коротко, то счастливо, **интересно** и в целом — благополучно. Был период взаимной «притирки». В первые годы,



Юра и Туся вскоре после женитьбы. 1958 год.

иногда, бывали ссоры, в основе которых лежала разница характеров и привычек. Я считал себя человеком более опытным и взрослым, чем Туся. А Туся, как правило, не сомневающаяся в своей правоте, всегда переживала, если я находил, на мой взгляд, ошибки в её словах и недостатки в её поступках.

Она воспринимала замечания и критику, как личную обиду. А я не находил тактичного способа донести до неё своё мнение так, чтобы это её не задевало. Читайте в следующем разделе мои слова о том, что моя мама была диктатором у себя на работе, и её мнение было решающим для её подчиненных. По-видимому, я впитал этот безапелляционный стиль, и он столкнулся с безапелляционным стилем Туси. Я чувствовал, что, несмотря на ссоры, я люблю Тусю, что мне вряд ли удастся встретить девушку, которая понравилась бы мне больше, с которой у нас было бы так много общих интересов, взаимопонимания и взаимной привязанности (несмотря на противоречия), и что оба мы пострадаем, если разведёмся. Кроме того, и это я ощущал остро, было бы очень обидно оставлять маленького Андрюшу без папы или с «приходящим папой», как это было со мной в моём детстве. Я пишу довольно откровенно о событиях и настроениях той поры опять же для детей и внуков.

У Туси была совершенно замечательная бабушка, мама Алексея Андреевича, Елена Васильевна Ляпунова. Все звали её Баба Лёля. Моя мама



*Мама Туся с первенцем Андрюшей.
1959 год.*



*Папа Юра с Андрюшей.
1960 год.*

как-то сказала, что из всех Ляпуновых истинными интеллигентами являются Баба Лёля и Алексей Андреевич.

Баба Лёля говорила мне, что при детях родители ни в коем случае не должны спорить и осуждать друг друга. К сожалению, мы с Тусей временами нарушали это золотое правило, когда Андрюша был маленьким. Нарушали из-за неразумности и нежелания уступить или отступить первым.

По телевизору показывали рекламный ролик: девочка кусает большую сардельку, наколотую на вилку. Воспитательница детсада с укоризной спрашивает девочку: «Верочка, ну кто так кушает?». А Верочка отвечает: «Папа!». «Папа может!», — реагировала воспитательница с нескрываемой иронией. Замечательный урок для импровизированной Верочки, и для пап, и для мам...

Надеюсь, что этот разбор поступков и их причин будет правильно понят читателями и не нанесёт обиды Тусе. Надеюсь также, что его снисходительно оценят мои дети, а внуки и правнуки, может быть, намотают себе на ус или «на коду».

В ляпуновском доме в Хавско-Шаболовском переулке мы жили интересно и весело. Рассказывать об этом можно много и долго. Один из примеров я привел в рассказе о Николае Воронцове в «Очерках о биологах...».

В январе 1962 года Алексей Андреевич и Анастасия Савельевна переехали в новосибирский Академгородок. В Москве, в их квартире остались



На даче в Можжинке в 1959 году. Слева направо Н. Ляпунова, Гриша Виноградов, А.А. Ляпунов, Маша Воронцова, А.С. Ляпунова, Андрюша Богданов (в пелёнках). Е. Ляпунова



Кузены в 1961 году. Гриша Виноградов, Андрюша Богданов, Маша Воронцова.



Баба Лёля (Елена Васильевна Ляпунова) с правнуком Андрюшей Богдановым на даче в Можжинке в 1960 году.

Юра с Аллой и 5-летним Гришей и мы с Тусей и 3-летним Андрюшей. Постоянной няней при наших детях была замечательная Домна Андреевна Гусева, Домаша. Она нянчила ещё Тусиных дядей и тёток в 20-е годы. Она сохранила деревенский говор с занятными сравнениями и прибаутками. Домаша была добра к детям, и они её любили. Бывали и персональные молодые няни, у Гриши — Нина, а у Андрюши — тоже очень добрая Тамара Боченкова из деревни Княжево Переславского района Ярославской области, куда однажды вывез меня на мою первую охоту Алёша Яблоков, и потом я ездил туда много раз.

Воронцовы, Коля и Ляля, несколько лет жили в Ленинграде, а в 1962 году вернулись в Москву и поселились в малогабаритной квартире, которую получил от Академии наук Алексей Андреевич и забронировал, уезжая в Новосибирск. В книге «Алексей Андреевич Ляпунов. К 90-летию со дня рождения» есть интересный очерк Туси «Одиннадцать счастливых лет». В нём описаны стиль жизни в ляпуновском доме в Москве, обстоятельства переезда её родителей в Новосибирск и счастливые годы их жизни в Академгородке.

У нас с Тусей сложилась хорошая семья. Туся — умелая хозяйка, она успевала (и успевает), за счёт своего темперамента и характера, работать, воспитывать детей, кормить их и меня, организовывать дом. До сих пор наша семья держится на ней.



*Домна Андреевна Гусева (Домаша)
с Николкой. 1969 год.*



*Анастасия Савельевна Ляпунова
с внуком Николкой Богдановым.
1974 год. Новосибирск,
Академгородок.*

Летом во время отпуска Түся умудрялась жить на даче с тремя детьми: Андрюшей, Машей Воронцовой и Гришей Виноградовым. Когда в семье появился Николка, то нам тоже временами помогали няни (снова Домаша и замечательная гувернантка 79-летняя Любовь Константиновна Баранник, врач и химик по образованию), но большую роль играло появление второго ляпуновского дома в Новосибирске, в Академгородке. Туда, к А. А. и А. С., периодически ездили все их внуки. С удовольствием навещали их и мы с Тусей, и Алла с Юрой. А Воронцовы в середине 60-х годов переехали жить и работать в Академгородок.

Для внуков пишу, что до августа 1964 года мы и Виноградовы жили в большой ляпуновской квартире в Хавско-Шаболовском переулке, 18/2, квартира 3; затем разменяли её на две малогабаритные квартиры в панельном «хрущёвском» доме в квартале 42-а Юго-Запада, корпус 1 (угол Ленинского проспекта и улицы Обручева). Мы и Алла с Юрой и Гришей жили на одной лестничной площадке — удобно! Теперь на месте этого дома стоят новые гигантские здания. С 29 апреля 1969 года мы живём на ул. Академика Волгина, дом 13, квартира 84. С доплатой поменяли нашу малогабаритную квартиру на трёхкомнатную квартиру в кооперативном доме МГУ.

Часть VI

Мои родители во второй половине их жизни

Моя мама, Ванда Яновна, прожила 91 год. Она скончалась 11 мая 1991 года. Папа скончался на 73 году жизни 27 марта 1973 года. Оба они увидели своих внуков: Андрея (родился в 1959 году) и Николая (родился в 1968 году). Они были счастливы тем, что имели внуков. Отцу хотелось, чтобы у него был внук Федя, он намекал на это. Но приоритетное право назвать своего ребёнка, по справедливости, должно принадлежать матери, которая его выносила и родила, и у нас с Наташей (Тусей) так и произошло.

Мама и папа во второй половине их жизни восстановили дружеские отношения, заботились друг о друге, но жили в разных городах и встречались нечасто. А теперь о второй половине их жизни я расскажу близко к календарному порядку.



Волевые поступки моей мамы

В 1945 году, вскоре после нашего с мамой переезда из Свердловска в Москву, симпатичный человек, лёгочный хирург, профессор Лев Константинович Богуш, будучи холостым, предлагал моей маме выйти за него замуж. Лев Константинович мне понравился, но мама отказалась от его предложения. Она мотивировала это тем, что хочет посвятить себя моему воспитанию и не может столько же внимания уделять ему. В этом не было



*Начальник медицинской части Московского городского ортопедического
госпиталя инвалидов войны, кандидат медицинских наук
В. Я. Тарковская. 1950-е годы.*

позы (но был подтекст, который станет понятен позже). Она делила все свои силы между работой и моим воспитанием. Мама была по-настоящему увлечена своей профессией, вложила лучшие годы жизни в любимую работу, она жила интересами своей профессии. Она так и говорила: «Я люблю свою работу». В 45, и в 55, и в 65 лет она уходила на работу к 8 или к 9 часам (в разные годы — по-разному), приходила домой после 6 часов вечера. А оставшееся от работы время посвящала дому, уходу за мной, пока я был школьником.

Чтобы закончить тему, связанную с Л. К. Богушем, добавлю, что мама хотела, чтобы мой отец продолжал заботиться обо мне, и чтобы я не забывал его, называл папой, и это её желание полностью реализовалось. А Лев Константинович женился на женщине, которая помогала ему по хозяйству, и она родила ему двух детей, чего он очень хотел, и чего уже не следовало требовать от моей мамы, которой исполнилось 46 лет.

В пору моего студенчества маме стало легче с домашним хозяйством. Я уходил на целый день в университет, там и обедал, и часто приходил домой затемно. В старом здании МГУ на Моховой улице и улице Герцена (ныне Б. Никитская) наши занятия нередко шли с перерывами до позднего вечера, а с 1954 года, в новом здании МГУ на Воробьёвых горах, я по вечерам сидел на кафедре, занимаясь курсовой и дипломной работами.

Как-то в начале 1960-х годов я зашёл на работу к маме в её Госпиталь инвалидов ВОВ (напоминаю: она по-прежнему была заместителем начальника госпиталя по медицинской части) и немного посмотрел и послушал, как она руководила медицинским персоналом госпиталя. Это нужно было видеть и слышать! Взрослые женщины в белых халатах, сами уже мамы и бабушки, но её подчинённые по работе, ходили «по струнке». Отвечать на вопросы должны были чётко и толково и, не дай Бог, сделать что-то не так, как она требовала! Мамина близкая знакомая, врач Краснокуцкая, по выходным дням могла мило болтать с моей мамой по телефону, приходила к нам в гости, но как-то сказала мне: «На работе мы Ванду Яновну боимся. Она добрый человек, но беспощадно требовательна!».

Когда у моей мамы появился внук Андрюша, она стала энергично рваться заниматься им. Когда Андрею исполнилось 7 лет, мама решила, что она должна его воспитывать, чтобы он учился, а мы с Тусей — занимались своей научной работой, и вышла на пенсию. Оставила любимую работу, но не потому, что устала трудиться, а ради того, что считала своим долгом: воспитывать внука и создать условия для того, чтобы сын (то есть — я) занимался своей докторской диссертацией и не думал о снабжении дома продуктами. (Кстати, в советские времена это всегда было гораздо труднее, чем сейчас, и чем ближе к концу советской власти, к 1991 году, тем хуже). Мама вообще всю жизнь исходила из чувства долга, делала то, **что считала своим долгом**: занятие медициной, воспитание сначала сына, потом хотя бы одного внука... Она вкладывала во всё это свою энергию (а её энергии можно было позавидовать), и делала это так, как считала нужным. Вспомните слова её отца, Яна Петровича: «Ванда всю жизнь делает так, как ей хочется».

В 1960 году, когда Андрюше исполнился год, а я вернулся из ленинградской аспирантуры и стал жить в Москве, в доме у Ляпуновых, мама сказала, что она идёт на онкологическую операцию: нужно удалять опухоль молочной железы. Оказалось, что этот диагноз маме поставили давно и операцию нужно было делать ещё год назад или даже раньше... Но Юра учился в аспирантуре, «ему нельзя было мешать», потом родился Андрюша, и мама хотела увидеть, как он «доживёт до годика» (помнила свои первые, вторые и третьи роды, гибель Витуськи и критический первый год моей жизни). Зная мамин характер и образ мыслей, я понял, что она не могла поступить иначе: мало ли чем кончится операция?

Большой отсрочкой мама, конечно, осложнила и операцию, и реабилитационный период. Очень умелому хирургу, профессору Милованову, пришлось для профилактики удалять лимфатические узлы в подмышечной области. Ни мама, ни хирурги не забинтовали эластичным бинтом пострадавшую руку, и она до конца маминой жизни (целых 30 лет после операции!) была

сильно отёкшей. Этой рукой маме было трудно владеть. После операции маму подвергли курсу рентгенотерапии, что привело к временной, но заметной лучевой болезни. Но мама работала! Она жила в это время одна, на какое-то время перестала носить нам в дом продукты «для Андрюши», но её воля к организации жизни была всё той же.

Я помнил фамилию профессора, известного хирурга-онколога, который удалял опухоль у мамы, но теперь не совсем уверен в ней. Он взялся за эту операцию по просьбе Василия Дмитриевича Чаклина. Когда патогистологи закончили анализ биопсии опухоли, Василий Дмитриевич сказал мне по телефону, что у мамы злокачественный тип опухоли «скир» и предупредил, что после удаления такой опухоли пациенты живут недолго. После восстановления от лучевой болезни мама больше всего жаловалась на боли в коленях. Говорила, что ей, безусловно, помогли бы лечебные грязи, и что она с удовольствием полечилась бы грязями в Пятигорске, но после онкологических операций грязелечение (и другая физиотерапии) противопоказаны, чтобы не провоцировать распространение метастазов по организму. Время шло, признаков метастазов не было, и вот, лет через 10–15 после операции мама радостно объявила мне, что гистологи сделали ревизию своих анализов и пришли к твёрдому убеждению, что опухоль была не злокачественной. Я уже и сам понимал, что опасность метастазов миновала: не может процесс распространения метастазов «ждать» так долго... Мама говорила, что после ревизии первичных гистологических препаратов специалисты изменили заключение, признали первоначальное ошибочным. Бывают у медиков «приятные» ошибки! Кавычки у этого слова всё же нужны, ибо жить с диагнозом «рак», тоже несладко... Правда, я не в курсе, знала ли мама диагноз «скир»? Чаклин меня предупреждал, что она не должна этого знать.

Когда в 1966 году Андрюше нужно было пойти в первый класс школы, мама договорилась с родителями Туси, Алексеем Андреевичем и Анастасией Савельевной, и поехала вместе с Андрюшей жить к ним в Новосибирск, в Академгородок. Поселилась вместе с внуком в маленькой комнате коттеджа Ляпуновых и денно и ночно следила за его режимом дня, питанием и учёбой. По себе знаю, что для «подопечного» подобная опека даётся нелегко. Такого же мнения остался об этих двух годах своей жизни и Андрей. Но для моей мамы это было необходимостью. Ей это тоже, кстати, давалось нелегко. В отличие от открытого для гостей, живущего активной жизнью дома Ляпуновых, мама вела очень сдержанный, даже затворнический образ жизни и Андрюшу держала «при себе», что создавало напряжение как для Алексея Андреевича и Анастасии Савельевны, так и для Ванды Яновны. Но все они были людьми хорошего воспитания, и до открытой неприязни и тем более конфликтов дело не доводило. Страдали, каждый по-своему, но держались.

В третий класс в 1969 году Андрюша вернулся в Москву. А мама договорилась о том, что поедет «на заработок»... в Свердловск, в институт, который покинула в 1944 году из-за конфликта с моим отцом. Я уже обмолвился, что к концу 60-х годов их жизни (помните: они были ровесниками?) они восстановили добрые человеческие отношения.

Работа отца в Свердловске и переезд в Киев

С 1944 по 1958 год Федор Родионович Богданов был директором Института восстановительной хирургии травматологии и ортопедии (ВОСХИТО) в Свердловске и сделал его передовым клиническим учреждением. В этом можно убедиться без моих объяснений, если взять в руки уже упоминавшуюся книгу «Хирург Фёдор Богданов», подготовленную его учениками во главе с профессором Э.К. Николаевым. Кстати, в книге есть интересный очерк самого Эдуарда Константиновича о том, как Фёдор Родионович стал его «крёстным отцом в медицине».

Институт ВОСХИТО имел большие успехи в лечении инвалидов и травмированных людей и был действительно знаменит на Урале, в Сибири; хорошая репутация института была известна в Москве, в Ленинграде и за рубежом. Туда ездили лечиться и оперироваться люди с разных концов СССР.



*Директор Института ВОСХИТО, член-корреспондент АМН СССР
Ф. Р. Богданов на выставке медицинского оборудования. Крайний слева — профессор
Мухин, далее доктор мед. наук А. В. Чиненков, канд. мед. наук Н. И. Бутикова
и неизвестная.*

Институт процветал, а Фёдор Родионович получил известность среди зарубежных коллег.

Однако осенью 1958 года отец вместе с Наталией Ивановной Киселевской переехал из Свердловска в Киев. Сначала он очень хотел вернуться с Урала в Москву и надеялся стать директором ЦИТО (Центрального института травматологии и ортопедии). У него на это были серьёзные шансы. Тогдашний директор ЦИТО, академик АМН СССР Николай Николаевич Приоров был уже стар и тихо доживал в своей директорской должности, а член-корреспондент АМН СССР Ф. Р. Богданов был ярким и известным в стране ортопедом, умелым организатором, создавшим институт ВОСХИТО. Отец надеялся, что вот-вот создастся ситуация, когда должность директора ЦИТО в Москве окажется вакантной, и он сможет подать заявление на конкурс. Но у отца возник конфликт с Наталией Ивановной. Она не захотела больше оставаться в Свердловске, по слухам, существенно шантажировала его, и он согласился на предложение занять вакантную должность заведующего Кафедрой ортопедии в Институте усовершенствования врачей (и проректора этого института) в Киеве и, параллельно, должность научного руководителя Киевского института травматологии и ортопедии. Всё это было, в конце концов, тоже небезынтересно для него, он с энтузиазмом начал создавать новую ортопедическую школу в Киеве и быстро добился успехов и признания... Но столкнулся с украинским национализмом, вернее, с протекционизмом украинских властей по отношению к кадрам украинского происхождения. Директором института, в котором Ф. Р. Богданов являлся научным руководителем, был кандидат медицинских наук Шумада (к 2000 году он стал академиком Академии медицинских наук Украины), а ректором Института усовершенствования врачей был доцент Умовист. Отец ладил с Шумадой и Умовистом, но всё же это было не то, что в Свердловске (где он был сам себе хозяин), и не то, на что он рассчитывал в Москве. В столице пост директора ЦИТО вскоре, буквально через год-другой после переезда отца в Киев и кончины академика Н. Н. Приорова, занял доктор наук М. В. Волков, до того менее известный чем Ф. Р. Богданов в области ортопедии.

Однако отец был оптимистом и умел создавать себе условия для жизни и работы. Прежде всего, он модернизировал работу клинического института и кафедры в Киеве, привнёс туда свои коронные методы остеосинтеза (лечения переломов с помощью металлических стержней), стал интенсивно раздавать перспективные диссертационные темы врачам своей клиники и кафедры. Свердловские ученики отца, ставшие докторами наук, В. Фишкин и А. Чиненков, говорили мне, что Фёдор Родионович творчески формулировал беспроигрышные темы для диссертаций и умело руководил соискателями учёных степеней. В Свердловске за 20 лет его профессорской деятельности под его руководством было защищено 39 кандидатских и несколько доктор-

ских диссертаций. В Киеве отец растил кадры такими же темпами, причём руководил соискателями учёных степеней не только среди киевских врачей, но и врачей из других городов Украины и даже Молдавии.

За несколько лет до отъезда из Свердловска отец построил под Свердловском дачу в деревне Раскуиха, переехав в Киев продал её и купил себе дачу на краю дачного посёлка Ворзель в 40 минутах езды на электричке от Киева. Это был кирпичный флигель бывшего барского дома. Часть большого земельного участка барского дома была отгорожена и принадлежала теперь этому флигелю. Составляла она примерно 20 соток, на ней было несколько хороших плодоносящих яблонь и крокетная площадка. Купленный флигель был обветшалым (старая крыша и т. п.) и сыроватым (см. Приложение). Отопление было только печным, и его нужно было восстанавливать. Но отец заказал постройку позади дома летней деревянной кухни с одной жилой комнатой, и этот план был реализован. Ещё он очень хотел сделать маленький бассейн между домом и летней кухней, но подходящих специалистов не нашлось, хороших стройматериалов не было, и вода из выкопанной ямы всё время уходила... Махнув рукой на эту затею, отец удовлетворял свою потребность в активной деятельности тем, что сам чинил ограду из штакетника. Штакетник в те годы тоже было трудно купить, времени у отца не было, и он чинил забор подручными материалами.

Соседом по даче, прописанным как постоянный житель в бывшем барском доме, был учитель игры на баяне в музыкальном училище, симпатичный, довольно молодой дядька. Отец был контактным и демократичным человеком, поэтому состоял в хороших отношениях с этим соседом. Сосед с другой стороны, отставной подполковник Оноколо, был «некомфортным» для общения.

Вспоминаю такой случай. Я гостил у отца, и мы приехали с ним на дачу. Отец пригласил хорошего соседа-баяниста в гости. Тот пришёл с женой, работницей столовой санатория. Они принесли большую кастрюлю, полную котлет. Мы вместе поужинали этими котлетами, но угощения было очень много и соседи оставили остальные котлеты нам со словами: «Кушайте, кушайте, мы каждый день едим оттуда». Таков был обычай работников советского «общественного питания»! Этот обычай сохранился кое-где и в постсоветское время. Один эпизод стоит рассказать.

В январе 2000 года я по соцстраховской путёвке побывал в хорошем санатории «Беларусь» в Сочи. Санаторий этот, как сказали его работники, был в советское время любимым местом отдыха директора белорусского совхоза (или председателя колхоза?) Лукашенко. В 2000 году санаторий принадлежал Республике Беларусь (т. е. был иностранной собственностью на территории Сочи), а Лукашенко уже был Президентом Республики Беларусь, но где он отдыхал в те годы — не знаю. Однако справа от санатория,

если стоять лицом к морю, сразу за оградой и сейчас располагается госдача Президента Российской Федерации «Бочаров ручей» — место, часто упоминаемое в телепередачах и в радионовостях. Зимой 2000 года в санатории было много белорусских школьников. Они приезжали туда на длительный срок вместе с учителями, учились в школе и отдыхали — по-моему, замечательная форма учёбы и отдыха! Небольшое количество путёвок доставалось и системе российского соцстрахования, и мне повезло. Погода была тёплая. Я люблю зимой бывать на Чёрном море. Когда я уезжал в Москву, то добирался на вокзал на санаторном автобусе, он отвозил отдыхающих к поезду, а работников санатория, закончивших работу, в город. В автобус сели работницы столовой, и каждая из них несла в руках по две полные хозяйственные сумки. Сумки были тяжёлыми: я убедился сам, помогая одной из этих женщин поднять сумку по ступенькам автобуса. «Ой, какая тяжёлая!», невольно сказал я. «А что вы хотите — отреагировала она — зарплаты-то у нас маленькие, 900 рублей, не проживёшь на такую!». Средняя зарплата в России в 1999 году была около 1500 рублей, в 2000 году — более 2000 руб., а эти женщины, граждане России, работали на иностранного работодателя — на Белорусское государство, вот и компенсировали низкую зарплату... за счет российского и белорусского соцстраха. Еда в санатории «Беларусь» была вкусной и хорошо сервированной, но я удивлялся очень скромному размеру порций... Приношу извинения за длинное отступление, но это — тоже о нашей истории!

Важно упомянуть, что во время моей аспирантуры в Ленинграде в 1957–1960 годах отец ежемесячно присылал мне деньги, достаточные для моего проживания и найма комнаты, и все расходы по доплате за обмен квартиры в Москве и покупке мебели оплачивал он.

Судьба Наталии Ивановны Киселевской

Наталия Ивановна Киселевская увлекалась садоводством и очень полюбила дачу в Ворзеле. Дача находилась в сосновом лесу на самом краю большого посёлка Ворзель. Ближайшей станцией пригородной электрички была платформа «Кичеево». От этой платформы до дачи было заметно более половины километра по краю небольшого кукурузного поля. За полем шёл ряд дачных участков, и дача отца была чуть ли не первой со стороны станции. А вглубь посёлка сосновый лес сменялся сырой берёзовой рощей. Вообще, Киев и Ворзель окружены сосновыми и сосново-дубовыми лесами. Таких лесов вокруг Киева было много в 60-х и 70-х годах XX века. Может быть, и сейчас они ещё не все застроены дачами?

Сын Наталии Ивановны, Толя (Анатолий Григорьевич) Иванов в год переезда его матери и моего отца в Киев закончил Щукинское театральное

училище при Театре им. Вахтангова в Москве. Его мать и мой отец устроили его и его жену, Нелю Корнееву (тоже выпускницу «Щуки»), на работу в Русский драматический театр им. Леси Украинки в Киеве. Мой отец купил им малогабаритную кооперативную квартиру на бульваре им. Шевченко в новом доме наискосок от Цирка. Наталия Ивановна с момента переезда из Свердловска в Киев нигде не работала и пенсии ещё не получала. В год переезда в Киев ей исполнилось всего 50 лет, а пенсионный возраст у женщин тогда, как и сейчас, наступал в 55 лет. Она родилась в 1908 году, а перестала работать в театре в 1954, ещё в Свердловске. Весь бюджет их семьи (и семьи Толи Иванова, пока он был студентом) держался на больших зарплатах Фёдора Родионовича. Но Наталия Ивановна прожила в Киеве и Ворзеле меньше шести лет. В мае 1964 года она попала в страшную автомобильную аварию, получила тяжёлые травмы и скончалась через 8 или 9 дней в больнице. Она ехала на дачу с шофёром на собственной «Волге» Фёдора Родионовича и страшно торопила водителя. Внезапно перед ними выскочил на дорогу мальчик-велосипедист, и шофёр, спасая мальчика, направил машину на опору железнодорожного моста. Удар пришёлся на крыло перед передним пассажирским сиденьем, скорость была большой, и Наталию Ивановну прижало вдавившимся в кабину двигателем. Шофер не пострадал. Психологи говорят, что водитель машины часто инстинктивно сам уходит от удара, невольно подставляя пассажира. Отец в это время был на работе. Он никогда не водил автомобиль и не имел водительских прав. Обоснование этого было таким: «Я слишком много видел и оперировал травм, и больше всего боюсь наехать на машине на человека», говорил он.

Отец похоронил Н. И. Киселевскую на престижном Байковом кладбище в Киеве. Вопросы престижа были для него важны. Он соорудил на могиле гранитную стелу и зарезервировал рядом со стелой место для своей будущей могилы. Отец очень серьёзно относился к этому и заранее распорядился соорудить для своего будущего гроба подземный бункер с крышей («склеп», говорил он). Заглядывал в него, проверял работу рабочих и, привезя меня на кладбище, показал мне эту могилу и бункер. Он предупредил меня, что всё сделано и оплачено, чтобы я знал это, когда придется хоронить его.

Наши семейные поездки в Киев

Мы с Тусей бывали у отца в Киеве при жизни Наталии Ивановны и особенно часто, когда её не стало. Летом 1964 года отец пригласил мою маму приехать с внуком Андрюшей к нему в гости и пожить на даче в Ворзеле. Отец смирился с именем внука Андрея, найдя для себя утешение в том, что с балкона его киевской квартиры (Владимирская улица, дом 10, квартира 9) была хорошо видна Андреевская церковь, прекрасный



*Дед Фед с Андрюшей и Николкой
на даче в Ворзеле. 1970 год.*



*На Днепре в начале 1960-х годов. Дед Фед, Туся Ляпунова и Нина Александровна
Ляпунова, двоюродная тетья, жившая в те годы в Киеве, работавшая
в Ботаническом саду АН УССР и дружившая с Фёдором Родионовичем.*



Слева направо: мама (Баба Ванда), Андрюша, незнакомка, Дед Фед и другие на даче в Ворзеле под Киевом. 1964 год.

памятник архитектуры барокко XVIII века (архитектор Растрелли). Он часто придумывал какие-нибудь посторонние «обоснования» своих решений, был человеком весьма суеверным и меня, отчасти, этому научил. Дед Фед, как мы стали звать его в нашей с Тусей семье, полюбил внука Андрюшу, гордился им, привозил ему в Москву импортные игрушки (они тогда были редкостью) и охотно звал в гости в Киев. С младшим внуком, Николкой, Дед Фед тоже успел познакомиться. После рождения Николки отец снова надеялся, что мы назовём его Федей, но у нас были аргументы именно в пользу имени Николай. Туся хотела назвать сына так в память о своём родном дяде, замечательном человеке, военном хирурге, трагически погибшем в Германии в День победы в 1945 году, и я согласился, ибо вопреки матери называть сына не тем именем, что ей хотелось, значит сделать его на всю жизнь не таким любимым, каким он мог бы быть, и значит — нельзя. Дед Фед несколько насторожился по поводу своенравного характера Николки, но до своей кончины в 1973 году толком не успел разобраться в нём.

У Николая тоже осталось смутное воспоминание о Деде Феде. По-настоящему они общались с ним только одну неделю летом 1970 года, когда Николке было два года. В таком возрасте внуку ещё невозможно было запомнить дедушку, а деду за одну неделю тоже трудно было привыкнуть к внуку с необычным для него непокладистым характером.

Рассказ об этом визите к Деду Феду в более подробном изложении читайте в очерке «Мой отец Фёдор Родионович Богданов» в книге «Хирург Фёдор Богданов».

Теперь вернёмся к моей маме, Ванде Яновне.

Поездка мамы в Свердловск в конце 1960-х годов

После того, как родился Николка, Андрюша в конце августа 1968 года вернулся из Новосибирска в Москву. Моя мама «взяла отпуск» от ухода за Андрюшей, поскольку Туся была в аспирантуре, готовилась к экзаменам кандидатского минимума, кормя Николку, и, как рассудила Ванда, могла ухаживать за Андрюшей и следить за его учёбой. Кроме того, у нас поселилась любимая нами Домна Андреевна, которая помогала Тусе.

И вот моя мама решилась на новый подвиг. Ей не хотелось сидеть одной дома в её коммунальной квартире, кроме того у неё всё время было желание помочь нам материально. Она из своей небольшой пенсии постоянно норовила купить нам продуктов и, время от времени, пыталась вручить мне то деньги на одежду для Андрюши, а то и мне на костюм! Мужской костюм такого «эконом-класса», как я носил, стоил в те годы примерно столько же (от 120 до 150 рублей), сколько составляла её месячная пенсия (130 рублей — повышенная пенсия за заслуги), и она периодически откладывала деньги из своей пенсии на такие покупки. И вот мама решила снова выйти на работу.

Я не знаю, кто из моих родителей был автором этой идеи, мама или папа, но мама решила поехать в Свердловск в Институт ВОСХИТО и поработать там год. И поехала. Если правильно помню, жила она у своей знакомой Крысиной, которая имела квартиру как раз в нашем бывшем дворе, в доме, который тыльной стороной выходил в «наш» двор, а парадной — на улицу Вайнера.

Мама успешно проработала целый год в Свердловске, была довольна выполнением этой своей затеи, повидала там своих коллег по работе в госпитале № 1705 и Больнице инвалидов войны, и они с радостью встречались с ней. Но в материальном плане всё это обернулось против неё. Мама надеялась, что заработанные деньги будут хорошей добавкой к её скромной пенсии. Но она не всё знала о том, как информацию о работе лиц пенсионного возраста бухгалтерии передают в собесы (учреждения социального обеспечения). В те советские годы нельзя было получать пенсию и работать «на зарплате» более трех месяцев в году. Мама надеялась, что постоянная прописка в Москве, а работа в Свердловске — это допустимо, что Свердловск с Москвой не связаны в этом отношении, и ошиблась! Всю годовую пенсию пришлось возвратить. Правда, не сразу, а постепенно, на протяжении трёх

или четырёх лет. Эти деньги у неё ежемесячно вычитали из пенсии... Мама стоически переживала эти вычеты. Она, конечно, перестала тратить деньги на внуков. А моя зарплата в конце 1969 года выросла с 200 до 300 рублей. Я стал старшим научным сотрудником.

Последнее увлечение отца

Вскоре после кончины Наталии Ивановны в жизни отца появилась новая женщина. Это была Таисия Павловна Жаспар. Она была на 12 лет моложе отца и носила фамилию своего покойного мужа, француза Андре Жаспара. С ним она познакомилась до Второй мировой войны в Шанхае, где он работал в должности атташе по культуре посольства Франции. Таисия Павловна родилась в Тобольске в 1912 году в семье капитана речного флота. Во время Первой мировой войны её отец служил капитаном на реке Амур. В 1918 году его мобилизовали в армию Колчака, на его пароходе установили пушки, и когда армия Колчака была разбита и пришла Красная Армия, семье пришлось иммигрировать в Манчжурию, в Харбин, где сложилась большая русская колония. Там девочка Таисия (Тая) училась в русской гимназии. Много о той жизни рассказано в романе Наталии Ильной «Возвращение». Автор романа Наталия Ильина была школьной подругой младшей сестры Таисии, Нины. Для написания романа Ильина использовала дневники хорошо знакомой ей Таисии, вывела её в романе под именем Татьяны, но сделала роман просоветски политизированным, благодаря чему и была принята в Союз писателей СССР. Таисия расстраивалась, что Наталья Ильина исказила в романе описание их эмигрантской жизни.

После Второй мировой войны Нина, сестра Таисии, вышла замуж за врача, итальянца Карвени, и уехала в Италию, а Таисия Жаспар и Наталья Ильина разными путями вернулись в Россию. Это была широкая международная политическая кампания под названием «репатриация».

Когда в 1949 году к власти в Китае пришел Мао Цзэдун и образовалась Китайская народная республика, то Мао выдворил из страны русских (и других) эмигрантов и договорился со Сталиным об их репатриации. Таисия сначала уехала с мужем в Париж, но не прижилась там. Андре Жаспар происходил из аристократического рода, его двоюродным братом был сам генерал Де Голль — будущий президент Франции. Таисия Павловна рассказывала потом, что обстановка в семье была снобистской, и это особенно сказывалось на ней — русской эмигрантке из простой семьи. Таисия воспользовалась кампанией репатриации и уехала в Киев, в коммунальную квартиру к своей харбинской подруге Вере Трофименко. Вера Сергеевна Трофименко репатрировалась обычным для русских «восточным» путём — через Целину, Урал и, в частности, через Свердловск. Ещё в Свердловске Вера Сергеевна

познакомилась с Фёдором Родионовичем Богдановым. Приехав в Свердловск, репатрианты распродавали хорошие вещи, привезённые из Китая, а мой отец, имея высокий заработок (всё время работал на полторы ставки — как директор лечебного института и зав. кафедрой в вузе), покупал кое-какие антикварные вещи. У Веры Сергеевны он тоже купил красивые сундуки из сандалового дерева. А когда и он, и Вера Сергеевна независимыми путями оказались в Киеве, то она его нашла (он сразу стал известным человеком в медицинских кругах города), а потом познакомила с ним свою гимназическую подругу Таисию.

Таисия Павловна и Вера Сергеевна обе были художницами, Таисия — портретисткой (рисовала пастелью и сангиной), Вера писала миниатюры. Обе зарабатывали этим. Но Таисия после кончины Андрэ Жаспара получила французскую государственную пенсию как вдова крупного правительственного чиновника. Из этой пенсии 60 % она получала через советскую Инъюрколлегию (а 40 % удерживало советское государство). Таисия вступила в гражданский брак с киевским живописцем Константином Крыловым, но регистрировать его не хотела, ибо тогда она потеряла бы право на французскую пенсию. А сохранив 60 % этой немалой пенсии, она раз в 2–3 года выезжала из Киева в Италию, к сестре Нине, передавала ей часть пенсионных денег на воспитание четырех Нининых детей (и Таисиных любимых племянников) и ещё подрабатывала созданием заказных портретов там, на Сицилии, в городе Катанья, где жила семья сестры, Нины Карвени.

Вера Сергеевна, после смерти Н. И. Киселевской, познакомила Фёдора Родионовича с Таисией Павловной, и у них завязался роман. Таисия Павловна была одаренной и интересной женщиной. Помимо владения рисунком, она писала умные детские рассказы, была живой рассказчицей, образованной и по-европейски светской дамой с лукавым юмором и умением пародировать людей. В Киевский музей Западного и Восточного искусства она передала ценную коллекцию восточных экспонатов, собранную А. Жаспаром. Он завещал хранить эту коллекцию, не разрознивая её, и наследница Таисия соблюдала завещание.

С 1965 по 1972 год отец регулярно, но не часто приезжал в Москву (обычно на сессии Академии медицинских наук СССР) с Таисией. Между собой мы звали её Таисой, употребляя домашнее, обиходное имя, потому что она сама сказала, что по-французски и по-английски её зовут *Thais*. Обычно они останавливались (по брони Инъюрколлегии) в гостинице «Украина» на берегу Москвы-реки у Ново-Арбатского моста. Правительственного Белого дома (напротив «Украины») тогда ещё не было. Туся подружилась с Таисией Павловной.

Таисия Павловна существенно украсила жизнь отца. Она вовлекла его в круг искусства, музыки, европейской культуры. Покойная Наталия Ива-

новна пренебрегала этим, и в последние годы своей жизни вообще опустилась, перестала следить за собой, расплнела и стала неряшливой и ворчливой. В обществе Таисы отец подтянулся и стал бодрее. Они вдвоём навещали нас в Москве. Племянники Таисии Павловны приезжали к ней в Киев, а затем с ней — в Москву, и двое из них жили у нас в гостях целую неделю. С удовольствием посещали нас симпатичные итальянские знакомые Таисии — Паоло и Лючия Бьокка. Паоло был хирургом, профессором, а Лючия, происходившая из аристократической семьи, с увлечением изучала русский язык, читала в подлиннике Аксакова, которого очень любила, и прислала официальное приглашение Тусе приехать к ней в гости в Катанию, на Сицилию. Туся пыталась оформить документы для этой поездки, прошла много инстанций (партбюро факультета, партком МГУ) но в ОВИРе ей сказали, что выпускают за границу только к близким родственникам. Поездка не состоялась. Это была середина 1960-х годов — время крепкого «железного занавеса».

Фотографии, связанные с Т.П. Жаспар, можно увидеть в Приложении.

Внезапное заболевание отца

Летом 1969 года отец с Таисой был на курорте в Закарпатье, и там у него случился приступ сильных болей в животе, который удалось преодолеть с помощью таблеток но-шпа и других средств. Ещё до этой поездки отец как-то пожаловался мне, что профессор его кафедры Новиков, который поговаривал, что ему хотелось бы самому возглавить кафедру, сильно ударил его кулаком в печень. Новиков зашел домой к отцу поговорить о делах, а в прихожей перед уходом, как бы по-дружески, нанес отцу хук в правый бок, в область печени, и вызвал этим ударом сильную боль. Отец долго помнил ощущение от этого удара, и именно после этого у него и случился упомянутый приступ. Я как-то не придавал особого значения этим рассказам. Помнил, что у отца была язва в начале 40-х годов, потом снова болевой приступ в области живота в Ялте в 1949 году, и вообще я считал отца несколько мнительным человеком. Он, например, придавал большое значение приметам. В конце декабря 1969 года отец приехал в Москву на сессию АМН СССР и чувствовал себя плохо. Упоминал о болях в области печени и вспоминал инцидент с Новиковым. В эти дни наш с Тусей симпатичный знакомый Саша Коган, заведующий лабораторией Института им. Гельмгольца, доктор медицинских наук и биофизик в области зрения (завсегдатай первых Школ по молекулярной биологии и молодежных Школ-конференций по биофизике на Можайском водохранилище) попросил меня помочь ему проконсультировать у моего отца своего двухгодовалого сына, который не мог нормально стоять на ногах даже в манеже и не мог ходить. Отец всегда

чутко и доброжелательно относился к таким просьбам, особенно когда они исходили от близких людей. Чувствуя себя плохо и зная, что у него повышена температура, отец, тем не менее, сказал мне: «Поехали». Осмотрел ребенка, высказал свои соображения, дал рекомендации, предложил привезти малыша к нему в клинику, в Киев или в Свердловск — по его протекции и т. п., и мы уехали с ним на такси прямо на Киевский вокзал. Дома у Саши отец попросил термометр, измерил у себя ещё раз температуру. Она оказалась выше 39 градусов! Отец стремился скорее попасть домой и вызвать врача там, не хотел обращаться за медицинской помощью в Москве. В Киеве кто-то его встретили на вокзале и немедленно уложили в правительственную больницу в Кончей Заспе. Дело было 30 или 31 декабря 1969 года.

Тяжелая болезнь отца

3 января 1970 года отца оперировал профессор Шалимов, талантливый хирург, специально приехавший по личной просьбе отца из Харькова со своим ассистентом. Я в день операции утром уже был в Киеве, сидел в квартире отца и ждал сообщения из больницы, когда можно будет поговорить с Шалимовым. Сотрудники отца поддерживали постоянную связь по телефону с больницей и со мной. Наконец, сказали, что можно ехать. Мы приехали в больницу с ассистентом отца Наталией Быченко. Профессор Шалимов пригласил одного меня поговорить тет-а-тет в кабинете главврача больницы, а с доктором Быченко разговаривал ассистент профессора в другом кабинете. Шалимов «с порога» сказал мне: «У вашего отца рак». Эти слова, даже на фоне того, что я не исключал такой вариант, были для меня шокирующим известием! Хорошо, что я за мою предыдущую жизнь натренировался или от своей флегматической природы умел как-то сглаживать внутри нервной системы шокирующие известия. Кстати, этот опыт помог мне через 41 год после этого разговора довольно спокойно воспринять слова хирурга Рустама Хасановича Азимова, обращенные лично ко мне вечером 26 октября 2011 года, после того как я отошёл от послеоперационного наркоза: «У вас рак, Юрий Фёдорович». Операция на моей толстой (восходящей) кишке длилась 3–3,5 часа. Операция 3 января 1970 года на желчном протоке, поджелудочной железе, двенадцатиперстной кишке и желудке у Фёдора Родионовича длилась около 6 (шести) часов! Опухоль зародилась у отца на фатеровом сосочке — на окончании желчного протока, открывающегося в полость двенадцатиперстной кишки, и поползла по двенадцатиперстной кишке в разные стороны. Шалимов подробно рассказал мне, что ему пришлось сшить новый желчный проток, резецировать (удалить) часть двенадцатиперстной кишки (*Duodenum*) и как-то перекроить желудок, чтобы остатки *Duodenum* могли принимать пищу из желудка. Что он делал с *Pancreas*

(поджелудочной железой) я уже не помню. Помню только, он говорил, что ему пришлось много вырезать, чтобы отростки опухоли не пробрались дальше, и «шить, шить и шить». Шалимов предупредил меня, что Наталии Быченко его ассистент скажет, что вырезали желчный камень из фатерова сосочка, и пришлось перекраивать и сшивать *Duodenum*. Поэтому-то операция и была долгой, и что никто не должен знать, что у Фёдора Родионовича рак. Самому Фёдору Родионовичу приготовили показать желчный камень (от другого пациента), который якобы удалили у него. В те годы психологическая концепция советских онкологов состояла в том, что пациент не должен знать о том, что у него рак. Это, де, убережёт его от стресса и мнительности. На Западе всё было принято наоборот: пациент должен знать свой раковый диагноз, и это должно помочь ему рассчитать свои силы **и время жизни**, помочь сознательно лечиться, а не игнорировать рекомендации врачей. В постсоветское время российская медицина стала придерживаться именно этой «западной» концепции. И это правильно.

Однако слух о том, что у Фёдора Родионовича Богданова — рак, пополз по Киеву. На операции присутствовала личная медсестра-массажистка жены первого секретаря ЦК КПСС Украины Шелеста. Мать мадам Шелест была пациенткой моего отца, сама мадам Шелест очень благоволила Фёдору Родионовичу и послала на операцию свою личную медсестру, чтобы всё знать из первых рук. Главврач правительственной больницы («Цэковской» больницы, как говорили тогда) не посмел отказать «Первой леди Украины», он ведь был на службе у ЦК. (Вполне вероятно, что ему позвонили из Управления делами ЦК и вполне официально сказали: «Выдать пропуск такой-то медсестре!»). Там всё было по пропускам). В общем, в ЦК Украины всё сразу узнали (а в те годы это было равносильно тому, что, например, сразу узнавал «Голос Америки»). Таисия Павловна с пристрастием расспрашивала меня. Я молчал, как партизан. Не сказал никому. Таисия не верила мне и настаивала, что всё равно всё знает, и именно она сказала мне про «цэковскую» медсестру (откуда узнала про неё?). Туся и её родители тоже ничего не знали вплоть до внезапной (для них) кончины моего отца в марте 1973 года. Не помню, говорил ли я о раке отца моей маме тогда, сразу после операции? Потом она, по-моему, узнала. Но об этом — впереди.

Шалимов сказал мне, что после такой операции, какую сделал он, и на основе своего опыта он даёт моему отцу 1,5 года жизни. Отец прожил после операции 3 года и ещё почти 3 месяца. Сначала он медленно восстанавливался, набирал вес и поднимал уровень гемоглобина в крови после истощившей его примерно пятимесячной явной болезни (а каков был неявный, латентный период — не знаю). К своему 70-летию, которое он праздновал в Киеве, и которое потом торжественно отмечалось в Днепропетровске на съезде хирургов-ортопедов Украины, и в Москве, на заседании Всесоюзного об-

щества ортопедов и травматологов, отец выглядел довольно хорошо, хотя и немного постарел по сравнению с тем, каким он был до острой болезни. Лет 65 ему уже можно было дать. Виски поседали, немного похудели щёки, исчез живот. Но он снова окреп. В Днепропетровск он пригласил приехать мою маму, оплатил ей поездку. Танцевал с ней на банкете и представлял всем как свою жену, мать своего сына, кандидата наук, работающего в Москве в Академии наук у академика Энгельгардта. Отец любил рассказывать престижное о близких ему людях. Он очень хотел, чтобы я стал доктором наук, расспрашивал меня, когда это может произойти (когда защищу докторскую диссертацию?) и говорил, что только доктор наук может чувствовать себя в науке самостоятельным человеком. Это же он говорил и своему доценту Левенцу, которого подгонял защитить докторскую диссертацию, чтобы в будущем, если придётся покидать пост заведующего кафедрой, разделить её и хотя бы часть передать Левенцу в противовес Новикову. Левенец защитил докторскую диссертацию в 1971 или 1972 году.

Еще до болезни, но особенно после операции отец говорил мне, что периодически задумывается о том, на какие средства он сможет жить, если ему придётся покинуть руководящие должности, а тем более, если выйдет на пенсию. Пенсии для врачей и научных работников тогда (как и сейчас) были недостаточными для «обеспеченной» жизни. Доктор наук, профессор мог получать пенсию не более 160 рублей в месяц. Это было ниже зарплаты младшего научного сотрудника, кандидата наук (который получал 175 рублей). Пенсионеру с учёной степенью доктора наук разрешалось подрабатывать на полставки в должности старшего научного сотрудника-консультанта, но чтобы сумма зарплаты и пенсии не превышала 350 рублей. Отец начал копить деньги «на старость» (в народе говорят: «похоронные»). И тогда я услышал его размышления вслух, что дружба с Таисией ему дорого обходится. «Она всё время просит денег». А после операции отец сказал мне: «Представляешь, Таиса просит меня подарить ей дачу в Ворзеле, а мне за это обещает купить машину... чтобы нам вместе ездить туда на этой машине». Я понял, что их дружба подходит к концу.

Отец спросил меня однажды: «Как ты думаешь, не взять ли мне к себе Ванду?». Мне это было приятно услышать. Я знал, что он принимает такие важные решения небыстро, обдумывая их с разных сторон. Я представил себе, как может измениться его жизнь, если моя мама переедет к нему. Напомнил ему, что у него с мамой очень разные характеры. Ему придётся отказаться от своего светского стиля жизни, открытого для старых и новых знакомых дома. И я, и многие люди, окружавшие отца в последние годы, замечали, что он стал раздражительным и нетерпимо реагировал на малейшие замечания, а мама постоянно поучала меня и пыталась учить Тусю «как надо жить». Я только напомнил ему о разнице в привычках его и мамы,

и он быстро отказался от своей мысли... Получилось так, что я подумал больше о нём, чем о моей маме! Я это понял много, много лет позднее.

Зимой 1972–73 годов у отца появились и начали усиливаться боли. До этого ему мешала, как он говорил, тонкая полиэтиленовая трубка-катетер, оставленная после операции в его пищеводе. Шалимов сказал ему, что произошло досадное недоразумение: ассистент, мол, нечаянно, коротко отрезал конец катетера в верхнем отделе пищевода, и они с ассистентом не смогли вынуть катетер оттуда. Но мне-то Шалимов объяснил, что пришлось вшить катетер в желудок, на границе двенадцатиперстной кишки с желудком, чтобы как-то компенсировать нарушенный сфинктер (пропускные «ворота» из желудка в эту кишку). Шалимов свято соблюдал заповедь «Не рассказывать правды онкологическому пациенту», а пациент из-за этого стал плохо относиться к спасшему его коллеге по хирургическому цеху. Благородный человек, Шалимов стойчески выдерживал недовольство Фёдора Родионова, которое тот не скрывал от своих знакомых.

В 1970–1972 годах мы с Тусей и нашими детьми много раз ездили к отцу в Киев. Он навещал нас в Москве. В марте 1973 года в моем присутствии в Киеве, отец вынужден был лечь снова в ту же самую больницу, где его оперировали. Я навестил его там, поговорил с профессором Шалимовым. Тот сказал мне, что нужно оперировать, но ничего хорошего он не ждет, потому что клиническая картина ему ясна. Он ожидает увидеть распад тканей, но что-нибудь постарается сделать. После этого я виделся с отцом, но, естественно, слов Шалимова не передал. Сказал, что Шалимов полон решимости сделать всё, чтобы исправить ситуацию.

На следующий день после этих разговоров я улетел в Новосибирск, в Академгородок АН СССР. Там начиналась главная конференция моей научной карьеры, которую мы с профессором В. В. Хвостовой ещё осенью 1972 года наметили на март 1973 года. Мы пригласили специальных докладчиков, лучших в те годы в СССР специалистов в области исследования цитологии и генетики мейоза у растений, животных и человека. Конференция так и называлась «Всесоюзная конференция по цитологии и генетики мейоза». На основе докладов, заказанных на эту конференцию, мы запланировали составить коллективную монографию по проблемам мейоза, так всё и было сделано потом. А в марте 1973 года я объяснил всё это отцу и сказал, что вернусь к нему сразу после операции. Сделав доклад в Новосибирске, прослушав основные доклады коллег для монографии, я досрочно улетел снова в Киев, возвратясь туда сразу после операции. Моя мама по согласованию с отцом тоже приехала в Киев, поселилась у него под очень тёплой и искренней опекой приходящей экономки-домработницы отца, Елены Петровны. Елена Петровна невзлюбила Таисию Павловну, радовалась присутствию Ванды Яновны, любила нас с Тусей и Андрюшу, который не раз бывал при ней

у деда. Моя мама договорилась с отцом, что он перед операцией оставит завещание на моё имя на всё своё имущество. Оформить нотариально заверенное завещание помог ей хороший знакомый отца, нейрохирург, профессор и медицинский академик Андрей Петрович Ромоданов, директор Института нейрохирургии в Киеве. Он был исключительно симпатичным человеком. Жена Андрея Петровича, Анна Сергеевна, работала в клинике моего отца и была близким ему человеком.

После операции Шалимов тепло принял меня в клинике. Он уже работал и жил в Киеве. Он сказал мне, что всё так и есть, как он предвидел: метастазы той, вырезанной три года назад опухоли, пронизали все органы брюшной полости. Он, Шалимов, на сей раз «даёт» моему отцу лишь от полутора до двух с половиной месяцев жизни. К отцу он меня не пустил. Отец лежал в реанимационном отделении, весь увешанный капельницами, катетерами, датчиками и проводами, как сказал Шалимов. Он должен был лежать там до 9-го или 12-го дня после операции. Шалимов расспросил меня о моей научной работе, сказал, что с моим отцом они говорили о своих сыновьях. Если не ошибаюсь, у Шалимова было двое сыновей, и в это время они работали в Москве, тоже занимались научной работой, но в области медицины. По-моему один из них работал в Институте хирургии имени Вишневского. Я поделился с Шалимовым тем, что свято соблюдал его просьбу о неразглашении «тайны» рака у отца. Шалимов очень одобрил это и объяснил мне свою позицию. Он сказал, что такие пациенты, как мой отец, не верят в безнадежность своего положения, надеются на выздоровление, и эта вера добавляет им дни и даже месяцы жизни. Он «отпустил» меня в Москву. А моя мама осталась в Киеве.

26 марта 1973 года на специальном заседании Учёного совета Института молекулярной биологии АН СССР директор института академик В. А. Энгельгардт и многие- многие участники заседания отметили 70-летие со дня рождения нашего с Тусей Учителя в цитогенетике профессора А. А. Прокофьевой-Белговской (кстати, коллеги моего отца по АМН СССР, лично знакомой с ним). Она была одним из ведущих генетиков Советского Союза, бесстрашным борцом с лжеучёным Т. Д. Лысенко, уничтожившим лидера советской генетики академика Н. И. Вавилова. Она была вместе с другими генетиками уволена с работы и на 8 лет отстранена от работ и преподавания в области генетики. Но общими усилиями генетики победили мракобесие, вернулись к работе, обучили этой науке наше поколение, и вот мы праздновали её юбилей. Обо всём этом и об А. А. Прокофьевой-Белговской мною написано в книге «Очерки о биологах второй половины XX века» (М: КМК, 2012).

В общем, день 26 марта 1973 г. был торжественным и приятным. А на следующий день утром позвонила из Киева моя мама и сказала, что папа скончался на рассвете. Это произошло, кажется, на шестой день после операции.

События 1973–1974 годов

Отца хоронили 30 марта 1973 года. На похоронах было огромное стечение народа. Приехали основные ученики отца, воспитанные им доктором наук, профессора И. Г. Герцен (он уже был профессором в Одессе), А. В. Чиненков (из Перми), Д. И. Глазырин из СНИИТО (бывшего ВОСХИТО из Свердловска), присутствовали не забывшиеся мне ортопеды из Днепропетровска, Харькова и других городов Украины, С. И. Пысларь (Пыслару) из Кишенёва. Были, конечно, и сотрудники двух киевских коллективов, которыми руководил отец (институт и кафедра). С тех пор прошло 40 лет, и я уже всех не помню. Вспоминаю только ближайших сотрудников отца: А. А. Курило. В. М. Никулькову. А. С. Ромоданову, Н. Быченко, доктора Левенца, который успел защитить докторскую диссертацию и унаследовал половину кафедры отца, а другую половину, конечно, возглавил Новиков. Он до этого уже был профессором кафедры.

Так сошлись события, что именно в день похорон отца, 30 марта 1973 года, Туся должна была защищать кандидатскую диссертацию в Ленинграде, в Институте цитологии АН СССР. Срок защиты диссертации назначается заранее, переносить его сложно, тем более что несчастье случилось не с диссертантом, не с членом его семьи, а с тестем диссертантки — это не прямой родственник! Одним из оппонентов на защите был приглашенный из Москвы профессор В. Я. Бродский, все билеты из Москвы в Ленинград куплены, Туся долго ждала этой защиты и взяла отпуск за свой счёт в редакции журнала «Природа», где она тогда работала (и где её начальником был человек с тяжелым характером), защита назначена в другом городе, в чужом для нее институте... По совокупности всех этих обстоятельств никто из нас не задумывался над вариантом переноса срока выстраданной защиты из-за похорон в Киеве, и Туся поехала в Ленинград.

30 марта утром она, не спав ночью в поезде, приехала в дом Раисы Львовны Берг, жившей на той же улице Маклина, где находился Институт цитологии. Мы с Тусей давно, с 1957 года, дружили с Раисой Львовной, талантливой женщиной, генетиком и авангардистом в искусстве. Туся приехала без готового текста доклада, т. к. перед отъездом из Москвы в редакции «Природы» был аврал по сдаче в печать очередного номера журнала. Раиса Львовна замечательным образом спасла Тусю от стресса. Она попросила Тусю рассказать ей, что та собирается говорить на защите. Выслушала, подправила, благословила, и защита диссертации прошла очень хорошо. Авторитетный профессор Юрий Иванович Полянский в дискуссии во время защиты сказал: «Я много лет участвую в учёных советах по защите диссертаций, но я впервые слушаю диссертацию, результаты которой должны войти в учебники». Результаты диссертации Н. А. Ляпуновой действительно вошли не только

в монографии, написанные российскими авторами, но и в фундаментальное учебное руководство, написанное зарубежными авторами и переведённое на русский язык¹. А в тот же день, но утром, мы хоронили папу в Киеве. Мама села у изголовья гроба. Гроб стоял в большой аудитории, двери из неё открывались прямо на улицу. Был тёплый весенний день, но сверху из аудитории дул ветер. Я был в пиджаке, а мама в лёгкой кофточке. Она оглядывалась назад, наверное, надеялась, что я обращаю внимание и подойду к ней, ей нужно было бы что-то накинуть на себя, на поясицу, чтобы защититься от ветра. Но я не догадался. Почему не догадался? Стеснялся (боялся) выйти из толпы в пустое пространство, окружавшее гроб, чтобы не привлекать к себе внимание — экая глупость! В результате сквозняка у мамы после похорон разыгралось воспаление почек, и она мучительно переживала эту болезнь. Хворать она начала в Киеве и долго потом продолжала в Москве.

Отца похоронили именно так, как он планировал. Памятник ему я смог соорудить только через 3 года. К 30-летию Победы, которое готовились отмечать в мае 1975 года, все резервы каменных карьеров Украины были направлены на сооружение монументов, особенно огромной горы-монумента «Мать Родина» на одном из холмов Киева по соседству с Киево-Печерской лаврой. Даже через ЦК компартии Украины, где руководил отделом науки личный знакомый отца, и Совмин Украины, где референтом заместителя председателя правительства была пациентка отца, я не смог достать гранитной плиты для памятника раньше, чем закончат «государственные» работы. Частные мастерские тогда не имели доступа к карьерам и могли делать (или переделывать из старых заброшенных памятников) лишь простенькие памятники. Памятная гранитная доска с горельефом головы отца была заказана через Таисию Павловну хорошему скульптору (по фамилии Рапай), и ему с архитектором нужен был не какой-нибудь, а специально подобранный гранит. Я описываю эти обстоятельства потому, что так или иначе все мы находимся в тисках условностей, традиций, понятий престижа, долга. Традиции ломать не стоит, и долг забывать нельзя.

В тот 1973 год печальные события происходили с неприятным постоянством. На Пасху, а она пришлась на 30 апреля, скончалась очень близкая и дорогая нам женщина, Елена Александровна Тимофеева-Ресовская, жена нашего с Тусей главного учителя в генетике, и вообще в науке, Николай Владимировича Тимофеева-Ресовского. В 1956–1958 годах Туся не раз жила в их доме на биостанции Миассово. Я приезжал к ним и у них учился не только генетике, но пониманию многого о том, как стоит воспринимать мир и судьбу в нём учёного. Жизнь Елены Александровны была полна крупных

¹ К. Босток и Э. Самнер. Хромосома эукариотической клетки. — М, «Мир». 1981. 598 с.

переживаний, потерь и физической работы. Она не дожила до 75 лет. После ее кончины Николай Владимирович спасался от отчаянья лишь сознанием того, что по преданиям на первый день Пасхи умирают святые люди. О Елене Александровне и о Николае Владимировиче я написал специальные очерки¹.

В начале июня 1973 года мы как-то начали отвлекаться от печальных событий. Я был в традиционной сезонной командировке в Крым, на плантациях лилий, объектов моих исследований хромосом. Взял отпуск, и ко мне в Крым, в Никитский ботсад приехала Туся с нашими сыновьями. Мы хорошо провели этот отпуск. Вернулись в Москву. Стали выезжать на дачу. Но... 23 июня того же 1973 года в Москве внезапно скончался приехавший в командировку из Новосибирска отец Туси и второй дед наших сыновей, Дед Алёша, Алексей Андреевич Ляпунов. Он скончался, не дожив до 62 лет! В жизни он был оптимистом и исключительно деятельным и успешным человеком. Успешным, потому, что был талантливым, уверенным в своих открытиях, в нужности для общества, для страны того, что он делал в области теории программирования, кибернетики и внедрения её в жизнь, в правильности принятых решений; смелым и настойчивым в их воплощении в практику. Ему достались огромные трудности на пути реализации научных и организационных планов: гонения из-за дворянского происхождения, опасность ареста, армия, тиф, война на передовой линии фронта на Украине, в Литве, в Восточной Пруссии. Он преподавал математику в Артиллерийской академии и в Московском университете. У него за плечами было создание отечественной кибернетики и своей широкой школы программирования в этой области, борьба за кибернетику с партийными философами, с бюрократией, с косностью управляющих органов в Академии наук, в министерствах, включая Минобороны и другие инстанции. О нём написано два больших сборника воспоминаний, снят хороший телевизионный фильм: «Лицо дворянского происхождения» (ТВ канал «Культура»). У него был сильнейший диабет и совершенно изношенное сердце, которое уже не могло работать дольше...

Туся исключительно тяжело пережила кончину своего папы. Но на этом её страдания в том году не кончились. В то же лето 1973 года, в жаркий июльский день Туся вместе со своей мамой и подругой детства Ниной Баландиной отправилась в Обнинск навестить овдовевшего Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. По дороге от станции к дому Н. В. они попали под грозовую ливень и в своих летних платьях промокли насквозь. Сели за гостеприимный стол в доме у Николая Владимировича

¹ Два таких очерка опубликованы в книге Ю. Ф. Богданов «Очерки о биологах второй половины XX века». — Т-во научных изданий КМК. М. 2012.

и обсыхали, не переодеваясь. Туся сидела спиной к открытой балконной двери и ощущала ветерок. В квартире был устроен сквозняк для избавления от жары. Наутро в Москве она с трудом смогла встать с кровати: началось и постепенно разыгралось сильнейшее воспаление седалищного нерва. Ей пришлось лечь в больницу. Анастасия Савельевна с Андрюшей и Николкой уехала в Академгородок, в Новосибирск, а Туся смогла присоединиться к ним только в начале сентября. Она отправилась туда на год заниматься разбором и подготовкой для хранения большого и ценного архива Алексея Андреевича. Глава Сибирского отделения АН СССР, академик М. А. Лаврентьев распорядился зачислить её в Институт цитологии и генетики для того, чтобы оплачивать её труд по работе с архивом. Туся лечилась и дома, и в больнице, и родоновыми ваннами на курорте Белокуриха на Алтае. Она с трудом избавилась от воспаления нерва, но папин архив привела в транспортируемое состояние.

Во второй половине августа 1973 года я слетал на 18 дней в США в составе большой делегации советских генетиков на Международный конгресс по генетике в Калифорнийском университете в Беркли. Председательствовал на одном из секционных заседаний (был приглашен оргкомитетом, что и дало мне возможность попасть в состав делегации).

Летом 1974 года Андрюша закончил в новосибирском Академгородке 8 класс, а его кузены, Гриша Виноградов и Маша Воронцова, получили аттестаты зрелости в той же школе Академгородка. Все трое этот учебный год жили в ляпуновском коттедже с бабушкой Анастасией Савельевной и Тусей. Летом 1974 года я прилетел к ним в отпуск. Кузены улетели в Москву поступать в вузы. Мы погрузили мебель, все вещи (включая большую коллекцию минералов!) и архив в контейнеры и отправили в Москву. Анастасия Савельевна уехала в Москву, а мы с Тусей, 15-летним Андреем и 6-летним Николаем полетели на самолёте в Киев. Остановились в Киеве у сестёр Ляпуновых (Анны Александровны и Нины Александровны) и пожили немного на отцовской даче в Ворзеле-Кичееве.

Осенью 1974 года Андрей начал учёбу в 9 классе школы № 11 (с биологическим уклоном) в Москве, недалеко от метро «Университет», а Николка пошёл в старшую группу детского сада около нашего дома на улице Волгина.

В декабре 1974 года на деньги, полученные по наследству от моего папы, я купил «Жигули»: «ВАЗ-2101». Летом 1975–1977 годов мы совершили наши первые автомобильные путешествия в Прибалтику, в Псков и Пушкинские горы, в Киев, в Ленинград.

Последние годы жизни мамы

Я начинаю отсчёт этих лет с конца марта 1973 года, когда мама вернулась из Киева в Москву после похорон моего отца. После этого мама прожила 18 лет — огромный срок, и прожить столько лет без проблем (например, со здоровьем) в семидесятилетнем возрасте, наверное, мало кому удаётся.

Сначала мама долго боролась с тем воспалением почек, которое началось в Киеве. Затем главной проблемой стали коленные суставы. У неё было сильное перерождение коленных суставов. Она говорила, что у неё постепенно разрушается поверхность головок костей, составляющих коленный сустав, и вместо глянцевої суставной поверхности, обычно покрытой хрящом, возникают и развиваются острые шипы из патологического хряща (или патологически переродившейся кости?). В суставах были боли, они с каждым годом усиливались, и потом, уже в 80-х годах, она говорила: «Если бы мне отрезать ноги, было бы легче». Она поддерживала контакт со своей бывшей коллегой по Госпиталю инвалидов войны, рентгенологом Вардуи Меликовной (фамилию помню неуверенно, может быть Мелконян). Вардуи продолжала работать в ЦИТО, и у мамы была возможность туда обращаться за помощью, но она утверждала, что никто ничем не сможет ей помочь. Она была очень нетребовательной и стеснительной. Я думаю также, что, будучи врачом старой школы, она уже не следила (да и не могла следить, не работая в клинике) за развитием методов лечения и не верила в новации. Это мои теперешние рассуждения. Тогда в 70–80-е годы я разговаривал с ней на эти темы, но она была твёрдо убеждена: сделать ничего нельзя, а я, её сын, — не врач, и ничего не понимаю. Можно было лечить, пока суставы не разрушились, лечить грязями, но она боялась этой физиотерапии из-за удалённой опухоли. Онкологи категорически запрещали и запрещают физиотерапевтические процедуры, чтобы не провоцировать метастазы удаленной опухоли или новые опухоли. Такая установка сохраняется и сейчас. Думаю, что в этой установке много рутины...

Затем у мамы стало ухудшаться зрение. Она пользовалась услугами окулиста районной поликлиники и была буквально влюблена в неё. «Доктор Бут такая милая, она так хорошо ко мне относится», говорила мама. Доктор Бут поставила ей диагноз «глаукома», т.е. повышенное глазное давление, означающее опасность отмирания сетчатки глаза и наступления слепоты. Доктор Бут прописала маме капли раствора эзерина и зелёные очки. Я говорил маме, что нужно проконсультироваться ещё где-то и с кем-то, но она была уверена в высокой квалификации своего глазного доктора. Однако зрение всё ухудшалось, началось постепенное отмирание сетчатки, причем — в центре глаз: макулодистрофия.

Мама до 1982 года жила в комнате коммунальной квартиры в Кожухове (ул. 6-я Кожуховская, дом 4), в нескольких автобусных остановках от метро «Автозаводская». Комнату ей предоставил Моссовет (на нас с ней) в 1951 году, когда я только поступил в университет. С 1964 года мы с Тусей и Андреем жили на Юго-западе Москвы. В 1969 году, благодаря финансовой помощи моего отца, мы поменяли нашу двухкомнатную малогабаритную квартиру (жилая площадь — 27 кв. м.) на трехкомнатную кооперативную квартиру на ул. Волгина, 13 (где живём и сейчас). Мама жила далеко от нас. Я с 1975 года ездил к ней еженедельно на машине, доставляя продукты. В 1979 или 1980 году мой Институт молекулярной биологии Академии наук предоставил мне право купить для мамы однокомнатную кооперативную квартиру в институтском кооперативном доме. Я привёз маму на машине к этому дому, вернее — остановил машину на Профсоюзной улице в ста метрах от этого дома, а далее нужно было идти по доскам, проложенным через ухабистую равнину, отделявшую дом от автобусной остановки. Мама вышла из машины, попробовала пойти в сторону этого дома и расплакалась: боль в ногах не позволяла ей идти по неровной поверхности! Тогда я поверил (увидел) что она не может идти, а сейчас я сам не могу ходить по такой поверхности по той же причине: больно и **невозможно держать равновесие из-за болей**. Кроме того, в новом доме пока не было телефона, был лишь план телефонизировать микрорайон в течение двух лет. Мама боялась остаться без телефона: она не смогла бы вызвать ни меня, ни скорую помощь, если нужно, и она отказалась от этого кооператива (мобильных, т. е. сотовых, телефонов тогда не было). На моей работе меня ещё долго уговаривали не отказываться от этой квартиры, оформить её, например, на сына-студента, на Андрея. Но это «не полагалось», пока он был учащимся, а не самостоятельно зарабатывающим. Наконец, в 1982 году нам удалось (с выплатой пая) поменять мамину комнату на двухкомнатную кооперативную квартиру в нашем подъезде (кооператив МГУ) и оформить её на Андрея, который в феврале того года окончил Институт нефти и газа им. Губкина и получил право оформлять квартиру на своё имя. В СССР было множество запретов, которые теперь выглядят дикими. В частности, студент не имел право иметь собственное муниципальное и даже кооперативное жильё.

Оформить обмен «государственной» («моссоветовской») квартиры на кооперативную удалось только потому, что Туся в то время в течение 8 лет была депутатом Моссовета.

Когда мама переехала в наш дом на улицу Волгина и поселилась в новой квартире с Андреем, у Андрея с Людой (в том же году) родилась дочь Анечка. На следующий год или чуть позже мама окончательно ослепла. Самой большой моей ошибкой было то, что я не уговорил маму и не организовал

ей консультацию, например, в Институте глазных болезней им. Гельмгольца или в каком-либо другом учреждении. Она сопротивлялась и говорила, что её положение — безнадежно, а я не знал, что с глаукомой можно бороться не так, как прописала доктор Бут. Я узнал это только в 1999 году. Я запомнил этот год потому, что из-за переутомления на работе, летом, в жару, когда я по 12 часов в день работал на компьютере со старым, излучающим монитором (писал текст международного проекта с англичанами, курил и нервничал), у меня самого случился приступ глаукомы (наследственность!), и я потерял часть поля зрения в одном глазу (а через несколько лет, так же частично, и во втором) ... Но окулист из академической поликлиники дал мне совершенно другое лекарство — арутимол, снижающий глазное давление. В 2000 году хирург-окулист (его фамилия Мостовой) в Институте глазных болезней им. Краснова РАМН сделал мне великолепную («скальпельную», не лазерную) операцию на первом пораженном глазе. Он сделал «окошко» на верхней поверхности глазного яблока, через которое стала вытекать избыточная внутриглазная жидкость, и внутриглазное давление стабилизировалось.

Из-за этой операции я отменил полёт в США на интересную для меня международную конференцию. Когда я написал коллеге из Университета Колорадо, профессору Стефену Стаку о своём отказе, он ответил мне по электронной почте: «Какая операция? Зачем? У моей мамы 20 лет глаукома и она 20 лет капает в глаза назначенные лекарства, и всё в порядке, зрение не ухудшается». Но операция уже была назначена на май-июнь, а конференция — в середине июня. Для поездки нужно было получать визу, выкупать билет, готовить доклад и т. п., пришлось выбирать: операция или конференция, и я отказался от полёта, и не жалею. И маму, наверное, можно было спасти от слепоты, если бы знать всё сказанное... за 20 лет до моей операции.

Я должен покаяться ещё в одном своём, на первый взгляд малозначащем, поступке. В рассказе о болезни отца я написал о том, что он однажды поделился со мной неуверенной мыслью, не взять ли маму к себе в Киев. Это было во время его болезни в последние годы жизни. Тогда я высказался совершенно объективно: он должен помнить, что у него с мамой очень разные характеры, и он быстро отказался от этой мысли. Казалось бы, и я, и он поступили разумно. А лет через пять после его кончины, когда мама однажды досадила мне советами и замечаниями, я как-то обмолвился ей, что у отца была мысль взять её к себе в Киев, но я посоветовал ему задуматься... И мама сказала мне: «Как жаль! В Киеве Елена Петровна (домработница и экономка отца) могла бы так хорошо за мной поухаживать! У нас с ней были такие хорошие отношения». Я знал, что отец смертельно болен, но я забыл, что моя мама — глубокий инвалид, заслуживший ухода... которого я ей не давал.

Даже взрослым людям, но не достигшим ещё возраста своих живых родителей, не оказавшимся ещё «в их шкуре» — трудно судить о проблемах старших по возрасту, и не надо судить! Заповедь врачей: «Не навреди!», пожалуй, наиболее безопасная в спорных вопросах... Хотя и не очень гуманная... если придерживаешься чей то стороны...

Начало взрослой жизни наших сыновей

Ослепшей и плохо ходившей маме и Андрею было трудно жить вместе, а мы с Тусей интенсивно работали и могли ухаживать за ней только по вечерам. Николка учился в университете. Потом оба они, Андрей и Николай, отслужили каждый по два года в армии, Андрей — лейтенантом, а студент 2-го курса Николай — солдатом. Это было с 1986 по 1988 годы. За это время основная нагрузка по уходу за моей слепой мамой была на Тусе и Люде, жене Андрея.

Осенью 1989 года Николай, вернувшийся за год до того из армии на третий курс географического факультета МГУ, женился на своей однокурснице Гале Семейкиной и фактически переселился в Дом студента МГУ. 21 августа 1990 года у них родился сын Сева.

В декабре 1989 года у Андрея с Людой родился второй ребёнок — Алёша, и мы с Тусей переселили маму в нашу квартиру. Теперь Андрей стал приходить к нам, чтобы помогать ухаживать за бабушкой Вандой. Последний год жизни, в 1990-м, мама в основном лежала, редко сидела. В 1991 году весной она начала быстро слабеть, уже не могла вставать и тихо скончалась ночью 11 мая 1991 года в своей постели, когда мы с Тусей были на конференции в городе Пущино Московской области. Андрей отпустил нас на эту конференцию. Он умел профессионально ухаживать за бабушкой. Я не могу сейчас точно вспомнить почему, но он до этого прошёл большую практику работы санитаром в Больнице святителя Алексия на Ленинском проспекте (тогда она называлась 5-ой Городской). Если я прав, он просто подрабатывал там. Даже мы с Тусей, два доктора наук, жили в те годы стеснённо в материальном отношении, а Андрею просто не хватало денег на жизнь, и он, не прося у нас, подрабатывал, как мог.

Андрей покормил бабушку накануне вечером, оказал ей необходимую гигиеническую помощь и нашел её скончавшейся рано утром 11 мая. Они с Николаем сами организовали похороны. **У нас с Тусей оказались замечательные сыновья!**

В вузах Андрей и Николай учились ещё при советской власти и окончили их в 1982 и 1991 годах (Институт нефти и газа и географический факультет МГУ, соответственно). А после августа 1991 года их судьба складывалась гораздо труднее, чем наша с Тусей жизнь после окончания нами университета.



*«Три поколения Y-хромосомы Богдановых»: Y-хромосома у людей определяет мужской пол и передаётся с фамилией отца. У всех потомков Ф. Р. Богданова она — одна и та же. Слева направо: Андрей Юрьевич (с бородкой), Юрий Фёдорович, Всеволод Николаевич, Алексей Андреевич, Николай Юрьевич.
Фото примерно 1999 года.*

Сыновьям пришлось зарабатывать на жизнь в условиях ломки экономики страны. Нужно было проявлять изобретательность, терпеть горькие неудачи, находить выходы из трудных и порой просто опасных ситуаций. Об этом лучше всего расскажут своим детям они сами. Их дети вначале тоже росли в условиях нехватки денег. Дети Андрея, Аня и Алёша, ощутили нужду и научились выполнять житейские обязанности со школьных лет, а во время учёбы в вузах уже подрабатывали, чтобы заработать на жизнь. Сева, сын Николая и Гали, был больше защищён и даже избалован в этом отношении. Обучаясь в частной школе, где практиковались поблажки, он не научился серьёзно заниматься, и после этого учёба на юридическом факультете МГУ давалась ему с трудом, бывали и неприятные коллизии. К четвертому курсу он, наконец, почувствовал почву под ногами и научился быть студентом.

Я думаю, что Андрею и Николаю будет что вспомнить и рассказать своим детям об их молодости. Они расскажут о своём детстве и юности то, что действительно оказалось для них важным. Это важнее, чем наше родительское субъективное мнение о своих детях.

Урок сравнения¹

Известно, что характер ребёнка складывается в семье. Мама рассталась с моим отцом, когда мне было 6 лет. Это произошло в 1940 году. До моих 23 лет мы жили с мамой вдвоём. С отцом я встречался периодически, иногда раз в месяц, иногда реже. Бывало, гостил в его доме по несколько дней во время летних каникул, ездил с ним летом в Крым и в горы на Кавказ, он водил меня в театры, знакомил с многочисленными людьми, окружавшими его. Для ребенка в неполной семье — это совсем неплохой вариант... Но отец не являлся для меня авторитетом, и он знал об этом. Я был мальчиком и юношей довольно замкнутым и не очень умевшим общаться даже с интересными и раскрепощёнными людьми. Единственное качество отца, которое мама оценивала положительно и говорила мне об этом, была его, отца, склонность к научной работе, научные способности, талант лектора и докладчика. Всё остальное в отце мама осуждала: общительность, стремление окружать себя знакомыми и поклонниками, склонность к богемности; она постоянно внушала мне: «Не делай так, не бери пример с отца». Мне кажется, что при этом она даже не обращала внимания на его трудолюбие и высокую ответственность в работе, наверное, потому, что сама обладала этими качествами, и они в её понимании как бы сами собой разумелись. Оба они были хирургами высокой квалификации. Более сорока лет по два-три раза в неделю часами стояли за операционными столами, а в военные годы, в эвакогоспиталях — делали это ежедневно. В любых ситуациях они начинали рабочий день в 8 утра, нередко, особенно в войну, выдерживали бессонный режим, и всегда, начиная с гимназической скамьи и до последних дней жизни, стремились быть лучшим (ровесники, они родились в 1900 году). Всё это я оценил позднее, а в школьные и студенческие годы смотрел на отца глазами моей матери, не считая его авторитетом для себя. Я не имею права осуждать маму за это. Она посвятила мне свою жизнь, и удач в моём воспитании у неё было больше, чем неудач.

Мы с отцом часто спорили на любые темы: я — с позиции молодого оптимиста с необсохшим молоком на губах и романтическими понятиями (с комсомольским налётом), он — с позиции человека, вышедшего из села, гимназиста, свидетеля Гражданской войны, затем — санинструктора Красной Армии, врача в голодной Москве, хирурга, ставшего профессором <...> в годы первых пятилеток, военврача в советско-финской войне 1939–40 годов, главного хирурга Уральского военного округа с многочисленными эвакогоспиталями, оборонными заводами, лагерями заключённых, работавших

¹ Фрагмент из книги Ю. Ф. Богданова «Очерки о биологах второй половины XX века». — Товарищество научных изданий КМК. М, 2012. Стр. 323–327 (с сокращениями).

на оборону, которые он инспектировал на предмет производственного травматизма во время Великой Отечественной войны, организатора и руководителя крупного лечебного института в послевоенные годы, члена Академии медицинских наук СССР, в общем, человека, узнавшего, как устроена жизнь на многих «этажах» общества. Как ясно из сказанного, он узнавал жизнь в постоянном труде. Стремления к праздности я у него никогда не замечал. И, тем не менее, отец не был для меня авторитетом. Нужно признаться: я был в оценках людей недалёким человеком...

И вот, когда мне шел 22-ой год, и я оканчивал университет, я познакомился с двумя людьми, которые сначала добавили важные элементы в моё мировоззрение, а в итоге — существенно повлияли на мою судьбу.

Первым по времени знакомства был мой будущий тесть, Алексей Андреевич Ляпунов, математик, профессор, энтузиаст и разработчик новых направлений в прикладной математике, борец за внедрение в жизнь кибернетики, которую партийные идеологи сначала называли «буржуазной лженаукой», а потом её достижения, например, космические полёты, использовали для пропаганды якобы достижений своей отсталой идеологии. Алексей Андреевич — потомственный русский интеллигент из дворян, безупречно воспитанный до мелочей поведения, был высоким интеллектуалом и одновременно абсолютно демократичным человеком. Он прошел <...> Великую отечественную войну на фронте командиром топографического вычислительного взвода в артиллерийском полку, а, вернувшись с фронта, сразу стал преподавать математику в Артиллерийской академии (для чего он, кандидат физико-математических наук и старший лейтенант, был отозван из-под Кёнигсберга в марте 1945 года). Мне сейчас трудно сформулировать коротко, что я почерпнул для себя, общаясь с ним, потому, что мысли мои направлены на воспоминания о другом человеке и потому, что у Алексея Андреевича с этим другим человеком было много общего, несмотря на внешние различия и 11-летнюю разницу в возрасте. Этим вторым человеком, с которым я впервые познакомился в конце 1955 года, в доме у Ляпуновых, был Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский¹.

Я не могу сказать, что Николай Владимирович относился ко мне по-отечески. Таких молодых людей, на которых он оказал сильное влияние, было много, начиная с его учеников и сотрудников. Называл он меня на «ты» и Юркой, но я был на периферии его внимания. Однако я-то черпал и черпал для себя из общения с ним важные жизненные уроки и выводы на протяжении всех 23 лет нашего близкого знакомства. Это началось со времени жизни у него на биостанции Миассово на Урале в 1958 году и продолжа-

¹ Н. В. Тимофеев-Ресовский — всемирно известный российский генетик, биофизик, радиоэколог. О нем есть два рассказа в моей книге «Очерки о биологах второй половины XX века». Также см. в интернете и во многих публикациях.

лось вплоть до последней недели его жизни в больнице города Обнинска в 1981 году.

А. А. Ляпунов и Н. В. Тимофеев-Ресовский познакомились в 1955 году, быстро сошлись и стали друзьями. Алексей Андреевич с семьёй провёл в 1956 году отпуск на биостанции Миассово гостем у Тимофеевых-Ресовских. В тот приезд Ляпуновых впервые вошла в дом к Тимофеевым-Ресовским дочь Алексея Андреевича — Наташа Ляпунова, студентка <...> Московского университета. Начиная с 1956 года, она пыталась завлечь меня на эту биостанцию, где она <...> выполняла курсовые и дипломные работы, но попал я на эту биостанцию впервые только летом 1958 года, вместе с ней, когда она уже стала моей женой.

Алексей Андреевич был истинным аристократом. Настоящий аристократизм — это не высокомерие. Алексей Андреевич был полностью лишён его. Он был подлинным аристократом духа: ему не свойственно было рассуждать о бытовых вопросах, тем более об изнанке быта. Он был погружен в науку, в организационные дела, связанные с продвижением кибернетики в управление производством, в управление армией, внедрение её в лингвистику, в биологию, озабочен постоянным преподаванием. В наставительных беседах (которые он любил устраивать) он был академичен и изъяснялся только правильным литературным языком. В отличие от него, Николай Владимирович мог поговорить не только о «высоких материях», он был ближе к повседневной жизни, а из русских писателей (которых он, как и поэтов, знал великолепно) особенно почитал Лескова. Лесковским языком (и образом мыслей) он владел в совершенстве и любил им пользоваться от души, особенно на людях. Что же касается его жизненного пути и житейского опыта, то они широко известны из опубликованных воспоминаний и рассказов его самого и о нём.

<...> В биографии Николая Владимировича были совпадения с биографией моего отца, и для меня эти совпадения, подсознательно, сыграли немаловажную роль. Во-первых, они были одногодки: родились в 1900 году, с разницей в один месяц: Н. В. в сентябре, а Ф. Р. в октябре. Оба считали себя родившимися в XIX веке (что календарно совершенно правильно) оба учились в классических гимназиях, жили в условиях революций и Гражданской войны, служили в Красной армии, учились в Московском университете, затем оба оказались на Урале, отец — начиная с 1930 года, Николай Владимирович — с 1947 года. Более 10 лет оба жили на Урале одновременно. Конечно, моему отцу жизнь в целом далась легче. <...> И вот случилось так, что Алексей Андреевич Ляпунов и Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский оказались первыми для меня близкими и авторитетными людьми (мужчинами), кто на моих глазах с полным уважением и даже пиететом стали относиться к моему отцу, — урок молодым родителям! <...> В пер-

вый же год моего пребывания на биостанции Миассово, отец с Наталией Ивановной Киселевской приезжал из Свердловска в Миассово специально познакомиться с Тимофеевыми-Ресовскими. Отец относился к Николаю Владимировичу и к моему тестю также с полным пиететом, ну, а Наталии Ивановне было по-женски любопытно познакомиться со знаменитым человеком с его необычной биографией. Она «коллекционировала» таких «персонажей».

Постепенно, с возрастом, по мере наблюдений и сравнений, особенно когда я сам стал отцом, моё отношение к отцу изменилось. Он стал для меня <...> «равновеликим» с Николаем Владимировичем и с моим тестем, и положительная роль в этом Алексея Андреевича Ляпунова, Николая Владимировича, и Елены Александровны [Тимофеевых-Ресовских] — несомненны. *(Конец цитаты из другой моей книги).*

Так я писал за три года до написания книги, которую вы сейчас читаете. Между тем, ещё в студенческие годы я постепенно стал осознавать отца по-взрослому. Помню прогулки с ним по Москве, во время которых он давал мне ненавязчивые, но серьёзные советы, запомнившиеся на всю жизнь. Но встречи и события, рассказанные выше, помогли мне сравнить его со значимыми для меня фигурами.

Я должен отметить, что в старших классах школы и затем, когда я был аспирантом в Ленинграде, отец систематически помогал мне материально и оплачивал крупные покупки, когда я обзавелся квартирой.

О других моих родственниках

Родственников по отцовской линии у меня мало. В рассказе «Военная осень 1943 года» на страницах этой книги я написал о семье моей родной тёти, Татьяны Родионовны Пятыгиной, урождённой Богдановой. Единственный раз я навестил эту семью в 1955 году в Ессентуках. Я был очень рад познакомиться с тётей и её семьей. Её муж — Кузьма Матвеевич — был симпатичным человеком. Вслед за мной к ним заехали мой отец с Наталией Ивановной и Толей, и встретились семьи Татьяны и Фёдора Родионовичей.

С детства я был знаком с дочерью Татьяны Родионовны и моей двоюродной сестрой Ирой — Ираидой Кузьминичной Пятыгиной, в замужестве ставшей Каменской. Я любил Иру и осознавал её как самую близкую мне по крови (и по характеру тоже). Ира в студенческие годы (1938–1942) жила в Свердловске, потом была врачом на фронте, затем жила и работала в Ессентуках и в Евпатории. Она родилась в 1920 году и скончалась



В 1955 году в Ессентуках с Пятыгиными. В первом ряду слева направо: Ангелина, Кузьма Матвеевич, Татьяна Родионовна, Ираида с Сашей на руках. Во втором ряду (мрачные): Толя Иванов и Юра Богданов

в 2011 году, на 92 году жизни. С 1990-х годов и по эту пору я периодически навещал её и её сына, моего двоюродного племянника, Александра Ивановича Каменского, и его жену — Ирину Борисовну (Иру-младшую). Александр и Ира-младшая — преподаватели английского языка в вузе, кандидаты наук. Познакомился я и с их сыновьями, Святославом (преподавателем английского языка) и Алексеем (программистом), а также познакомил с ними Тусю и наших сыновей.

Ира-старшая написала тёплый очерк о моём отце: «Дядя Фёдор». Он опубликован в книге «Хирург Фёдор Богданов» (ссылка на эту книгу есть выше). Отец любил Иру и помогал ей на разных этапах её жизни. Он вообще чутко относился к близким ему людям.

Татьяна Родионовна и Кузьма Матвеевич скончались в 1970–80-х годах, а их дочери, Тамара и Ангелина, в 1990 и 2010 годах, соответственно.

Когда, в год 100-летия моего отца (2000 год), вышла из печати книга «Хирург Фёдор Богданов», сестра Ира попросила меня прислать экземпляр книги для «её двоюродного дяди Павла Васильевича Богданова». Я изумился: её двоюродный дядя, несомненно, является и моим двоюродным дядей, а я о нём ничего не знал! Оказалось, что дядя живёт в одном городе с Каменскими! Я немедленно выехал в Евпаторию и расширил круг своих родственников. Я ещё застал в живых жену дяди — Ольгу Павловну. А с дядей



С семьёй двоюродной сестры в 2002 году. Справа налево: Александр, сестра Ираида Кузьминична, Ира и Юра.

с тех пор общался много раз. Дядя родился в 1923 году, на три года позже своей двоюродной племянницы Ираиды, такое бывает! Отец дяди, Василий Иванович Богданов, был родным братом моего деда, Родиона Ивановича Богданова. Василий Иванович и мой отец были знакомы и виделись последний раз, когда Фёдор Родионович жил в Свердловске. Павел Васильевич был военно-морским лётчиком. С 1943 по 1945 год он воевал на Северном фронте, летал на самолетах-истребителях «харрикейн» и «аэрокобра», лично потопил немецкий военный танкер (двумя бомбами, которые подвешивали к «харрикейну»). В 1945 году воевал с японцами на Сахалине (на истребителе «Як-9»), был награждён двумя боевыми орденами Красного Знамени. Потом служил в Порт-Артуре и в Крыму, участвовал в Средиземноморском походе флота. Павел Васильевич похож на Фёдора Родионовича, и у Павла Васильевича такой же почерк, как у моего отца! Это много говорит о сходстве их характеров. У Павла Васильевича есть дочь Лариса, родившаяся в 1947 или 1949 году и сын Валерий, родившийся в 1952 году. Лара — провизор (работник аптеки), Валерий — врач. У Валерия хорошая семья, а Лара живёт с отцом. Мы подружились и периодически встречаемся. Я очень рад, что у меня есть хорошие родственники — Богдановы.

Маминых родственников я почти не знаю (почему «почти» — поясню). У её родителей были братья и сёстры, особенно много по отцовской линии,



*Валерий Павлович и Лариса Павловна Богдановы — мои кузены.
Евпатория, начало 2000 годов.*

Тарковские. Однако она сознательно потеряла с ними связь: в сталинские годы было опасно иметь родственников в других странах, а все они после революции 1917 года оказались за границей: в Польше, Франции, Англии.

В конце 1950-х годов в Москву из Днепропетровской или из соседней с ней области Украины приехал мамин троюродный брат (кажется, по бабушкиной линии, линии Богущких). Он был металлургом или машиностроителем. Он был у нас с мамой в гостях. Мама неохотно приняла его (!) и не стала поддерживать с ним связь. Сказывался её малообщительный характер и польская надменность: «Он — из простых людей. У него есть родственники, начнут приезжать...». Поначалу я расстроился и осудил маму, но понял, что в шестидесятилетнем возрасте трудно изменить характер. Кроме того, в это время мама уже была больным человеком, но продолжала работать, и принимать даже родственников ей было физически трудно: после рабочего дня сил не оставалось.

Больше всего я жалею о потере контакта с «почти родственником», Алёшей Данилковичем, научившим меня физкультуре и бравому отношению к жизни (см. очерк о нём в этой книге). В конце 1940-х годов он женился, поселился в Москве на улице Радио (в районе метро «Бауманская») и начал работать на протезном заводе. У него появились дети. Однако мама пере-



*С Павлом Васильевичем Богдановым, двоюродным братом
моего отца и моим дядей. Евпатория. 9 мая 2005 года.*

стала поддерживать с ним контакт. «Он начал выпивать», сказала мама. Это для неё было очень весомым поводом прекратить общение. В 1970-х годах мама сообщила мне, что Алёша, разыскивая её, написал письмо в одну из польских газет: «Жиче Варшавы» или «Кобета и жиче»; мама выписывала обе эти газеты на дом. Алёша просил газету помочь найти доктора Ванду Яновну Тарковскую, которая сыграла большую роль в его жизни, и он, потеряв её в Москве, решил, что она уехала в Польшу. Не догадался он обратиться в адресное бюро Москвы! Но, возможно, не знал многих данных, например, приблизительного года рождения мамы... В общем, не проявил находчивости. Но это было бы полбеды, но почему я не взял инициативу в свои руки? Пошёл у мамы на поводу из-за того, что она была уверена, что Алёша «спился»? «Он стал совсем другим», говорила мама. Может быть... Но нужно было самому написать в эту газету. Не догадался, а жаль!

Итак, у московских Богдановых, потомков Фёдора Родионовича, есть две семьи родственников в Крыму, в Евпатории. А у Наталии Алексеевны Ляпуновой, у Туси — масса родственников! Несколько лет назад на даче в Мозжинке собиралось несколько десятков близких и дальних родственников Ляпуновых из России и дальнего зарубежья. А ещё есть родственники по линии её мамы, Анастасии Савельевны, урождённой Гурьевой.

Оглядываясь назад

Фёдор Родионович Богданов и Ванда Яновна Тарковская прожили полную трудностей и испытаний трудовую и интересную жизнь. Их миновали опасности Гражданской и Отечественной войн и репрессии. Они оставили после себя одного сына, но двоих внуков и троих правнуков. Им повезло. Брат Фёдора, Пётр Родионович Богданов, погиб во время Первой мировой войны, двоюродный брат Фёдора — Павел, лётчик, — дважды чудом избежал гибели над Баренцевым морем на войне в 1943–44 годах. Фёдор Родионович и Ванда Яновна с 1940 по 1945 год и ещё несколько лет после окончания Второй мировой войны лечили тысячи раненых и спасли от смерти многих из них... Оба перенесли тяжёлые онкологические операции, но Ванда Яновна прожила после операции 30 лет. Повезло!

Среди Ляпуновых Алексей Андреевич подвергался преследованиям за дворянское происхождение, его увольняли с работы и, возможно, что заступничество нужного оборонной промышленности отчима академика С.С. Намёткина спасло его от ареста в 1930-е годы. Он не погиб на фронте Великой Отечественной войны, хотя был на передовой линии с 1943 до февраля 1945 года, до самой Восточной Пруссии. На фронте погибли два его брата, Николай и Андрей Ляпуновы, а третий, Ярослав, вернулся с войны инвалидом.

Андрей и Николай Богдановы, наши с Тусей сыновья, тоже отслужили в Советской армии по два года каждый: первый — лейтенантом, второй — солдатом. У них, наверное, тоже были опасности, хотя время было мирным: 1986–1988 годы. Но пусть они напишут об этом сами...

Наталия Алексеевна Ляпунова, Туся, не меньше двух раз попадала в больницу, в реанимацию, «по витальным показателям»...

Мой старший брат Витольд Богданов погиб, не дожив до года, и только поэтому через 9–10 месяцев после его кончины появился на свет я... И у меня, и у сыновей Андрея и Николая не обошлось в жизни без тяжёлых травм: перелом ноги, переломы костей черепа... Мы, все трое — Овны по знаку зодиака, а Овны подвержены травмам. Алёша Богданов, сын Андрея, тоже руку ломал, открытым переломом... Хоть и Стрелец по гороскопу.

Дай Бог всем нам прожить нашу жизнь так, как нам хочется!

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Немного об истории поколения моих родителей

В XX веке наша страна пережила несколько стрессов, вернее — катастроф. Я, как современник тех трагических событий (хоть был ребёнком и отроком), которые пришлось на 1930-е, 40-е и 50-е годы, имею право кое-что сказать о них. Кое-что я «кожей» чувствовал, кое-что детским и отроческим умом осознавал, но, конечно, понимал не всё и не глубоко. К концу жизни стоит сформулировать (в первую очередь, для внуков), что именно я понял к своим теперешним годам. Внуки, конечно, многое из этого знают. Многие, наверное, вошло в программы школы и вузов. Но живое слова деда — тоже важно.

Первой катастрофой на моём веку были массовые аресты в 1930-е годы (особенно в 1937 году, вторая волна — в 1938 году) и уничтожение огромного числа людей. Ни в чём не повинных людей, никаких не «врагов народа», а просто взятых властями «по разнарядке». Война с Германией притормозила, но не погасила этот процесс. Он продолжался по мере освобождения оккупированных врагом районов, длился после окончания войны и снова «вспыхнул» в 1949 году, когда появилась разнарядка на аресты (см. например, в книгах М. Веллера и других источниках).

В плане мировой истории «разнарядка» на аресты и уничтожение не повинных людей не были чем-то новым. В документированной истории такое практиковалось ещё в Древнем Риме. Император Октавиан Август, сев на престол, дал охранникам списки своих сторонников («проскрипции») и приказал арестовать и убить каждого десятого из этих списков, в том числе — сенаторов, избравших его Императором. Для чего? Для того чтобы остальные недоумевали о причине арестов, и поэтому боялись бы, что с ними может произойти то же самое, и безропотно подчинялись бы Императору.

То же самое проделал Гитлер с боевиками, «штурмовиками» из организации «СА», которые в значительной степени обеспечили ему победу на выборах в 1933 году. Он, после прихода к власти, уничтожил их лидера Рема и многих из них.

То же самое проделал Сталин с членами Всесоюзной коммунистической партии большевиков, поставивших его у власти. Ему мешали не только инакомыслящие деятели науки и культуры. Их в массовом порядке отправляли на Соловецкие острова и на строительство Беломорканала, начиная с 20-х годов. Аресты и осуждения безвинных людей стали постоянными с 1930 года. Подчиняя себе правящую партию, Сталин уничтожил почти

всех делегатов 17-го съезда партии большевиков, состоявшегося в 1935 году. На этом съезде он снова был выбран лидером партии, но звучали и критика в его адрес, и голоса против его кандидатуры на выборах в руководство партии. Поэтому он и уничтожал делегатов съезда партии, чтобы другие боялись. В 1937 году развернулась беспрецедентная кампания по уничтожению людей «по разнарядке». **Ниже приведу документ.**

Несколько лет со мной переписывался Эрнст Александрович Кобелев. Он родился в 1936 году в Свердловске. В 1937 году его отец был арестован и в январе 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР признан «виновным» по статье 58, части 8, 9 и 11, и в тот же день расстрелян. В том году арестованному отцу маленького Эрнста было всего лишь 29 лет, он являлся секретарем Пермского горкома комсомола. Вместе с ним был осужден и расстрелян Григорий Иванович Иванов, директор Свердловского дома пионеров, муж Н. И. Киселевской и отец Толи Иванова.

Эрнст Александрович Кобелев занимается благородным делом: изучает архивы, документы и свидетельства о судьбах репрессированных на Урале и их семей. Он расспрашивал меня о жизни Н. И. Киселевской, её сына и моего отца, женившегося на Наталии Ивановне и растившего Толю. Кобелев опубликовал статью: «Любовь и жизнь Наталии Киселевской» (журнал «Уральский следопыт». 2013. № 2, февраль, с. 32–37). В ней есть строки, которые я цитирую курсивом, чтобы наглядно отличить от моих субъективных слов:

*«Но наступил страшный 1937 год. В соответствии с указанием «вождя и учителя» были подготовлены, утверждены им и приняты к исполнению имевшие гриф «Совершенно секретно»: решение от 03.07.1937 г. № П51/94 Политбюро ЦК ВКП (б) «Об антисоветских элементах», а также оперативный приказ от 30.07.1937 г. № 00447 народного комиссара внутренних дел СССР, генерального комиссара государственной безопасности Н. И. Ежова «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». Он регламентировал «порядок» проведения репрессий в разных социальных слоях населения, а также давал «разнарядку» по количеству лиц, подлежащих аресту по 1-й категории (т. е. для последующего расстрела) и по 2-й категории (для отправки в исправительно-трудовые лагеря в качестве бесплатной рабочей силы), а также по управлениям лагерей и трудпосёлкам спецпереселенцев ГУЛАГа НКВД СССР. По Свердловской области было **предписано репрессировать: по 1 категории 4000 человек, а по 2-й 6000 человек.** (См., например: Г. Явлинский и А. Рогинский. Сборник «1937-й». Статьи и документы. — М.: РОДП «ЯБЛОКО», 2007 52 с.; илл).*

(Кстати, занимавший тогда пост начальника Управления НКВД СССР по Свердловской области комиссар госбезопасности III ранга Д. Дмитриев (псевд.; подл. имя М. Плоткин) отличился тем, что направил Н. Ежову секретную спецтелеграмму с **просьбой увеличить количество репрессирруемых по I категории с 4 до 6 тысяч человек**, как будто речь шла, например, о кубометрах заготовленной древесины.)

Григорий Иванович Иванов был арестован в числе комсомольских активистов Свердловского обкома ВЛКСМ ночью 30 октября 1937 г. в квартире на ул. Ленина в Свердловске. В анкете арестованного, приобщённой к его архивно-следственному делу № 20835, хранящемуся ныне в фондах Государственного архива административных органов Свердловской области, указаны предусмотренные формой бланка сведения: 1911 г.р.; г. Орехово-Зуево; образование — 7 классов; состав семьи: Киселевская Наталья, 30 лет, жена, работает артисткой в Оперном театре; Иванов Толя, 1 год 7 месяцев и Иванова Анна Петровна, 67 лет, мать; адрес места жительства, а также и то, что он арестован по I-й категории, т. е. изначально для выбивания показаний, фальсификации протоколов допросов и расстрела.

Вот фрагмент протокола допроса Григория ИВАНОВА от 21.11.1937 г., составленного начальником 4 отделения 4 отдела Управления НКВД СССР по Свердловской области следователем А. М. Парышкиным и согласованного с начальником 4 отдела Д. М. Варшавским. (Фамилии проходящих по делу лиц удалены из фрагмента сотрудниками ГАОСО): ...». А далее — те, у кого крепкие нервы или те, кто ещё чего-то не знает, читайте в очерке Э. А. Кобелева (ссылку на журнал «Уральский следопыт» см. выше). Кобелев приводит слова из протоколов допросов, во время которых, после пыток, арестованные «признавались» в антисоветской деятельности, которой на самом деле не было. Григорий Иванов, например, «признавался»: «По заданию <...> в аппарат дворца пионеров я подбирал лиц, социально чуждых и враждебно настроенных к Советской власти, и с помощью этих лиц в интересах организации я проводил подрывную работу по срыву политического воспитания среди пионеров. Вместо организации детей вокруг массово-политических мероприятий, я проводил линию массово-развлекательной работы, этим самым я оторвал детей от политики». Вдумайтесь в слова: «...оторвал детей от политики»! И ещё он «признавался» в том, что «организовал» пожар на детской ёлке в Берёзовском заводе, где 25 детей получили ожоги и 12 из них умерли. «Пожар на ёлке в Берёзовском заводе был организован <...> по заданию <...> с целью вызвать политическое недовольство среди родителей», — это слова, записанные в протокол рукой следователя, и под ними стоит подпись «Иванов». После пыток люди подписывали то, что от них требовали, и называли «сообщников», лишь бы избавиться от мучений...

В результате нашей переписки Эрнст Александрович Кобелев прислал мне сведения о судьбе знакомого моих родителей, Григория Павловича Плинокоса, и.о. председателя Исполкома Свердловского областного совета депутатов трудящихся. Эти сведения он получил из архивов. Григорий Павлович действительно был арестован осенью злосчастного 1937 года, обвинён в несуществовавших антисоветских действиях, осужден и расстрелян в январе 1938 года (то есть одновременно с А. Кобелевым и Г. Ивановым). Реабилитирован посмертно.

Вот что писал мне Э.А. Кобелев 10 апреля 2013 года: «О ПЛИНОКОСЕ Григории Павловиче имеются заголовки трёх опубликованных подробных биографических очерков, что перед арестом он работал председателем Свердловского облисполкома, а на сайте [knowbysight.info>PPP / 10749.asp](http://knowbysight.info/PPP/10749.asp) даже опубликована его плохонькая фотография № 10749; В период с июня 1935 г. по 18.06.1937 г. председателем Свердловского горисполкома работал МИЗЕНКО Николай Никитович. Вы сможете **прочитать два биографических очерка об этом мужественном человеке, который под пытками не только не подписал галиматью следователей, но и умудрился внести исправления в последний протокол его допроса. Я знаком с сотнями архиво-следственных дел, но о таком прочитал впервые.** <...> Сообщаю почтовый адрес и телефон Государственного архива Свердловской области: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.17; справки по тел. (343) 376-31-05 или на сайте архива в интернете». Вдумайтесь в выделенные слова! (Адрес архива тоже может пригодиться). А моих родителей, знакомых с Г.П. Плинокосом, эта судьба миновала. Врачей в Свердловске в том и следующем году почему-то не трогали...

Второй, но ещё более крупной катастрофой на моём веку была Великая Отечественная война. Давайте сравним. Репрессии коснулись прямо, но чаще — косвенно, «лишь» каждого десятого жителя СССР (это моя очень приблизительная оценка, может быть меньше, но среди крестьянства, интеллигенции, комсостава Красной Армии, думаю, что большего числа, чем в среднем по стране). Великая Отечественная война затронула весь многомиллионный народ СССР. **Погибло** более 26 миллионов человек! (это минимум ещё 10 % населения СССР в те годы!). А сколько людей остались покалеченными? Сколько трудились рабами в ГУЛАГе? Сколько умерло в 1946, 1947 и следующих годах от ран и болезней? Сколько осталось сирот?..

А после войны репрессии возобновились. Новая «разнарядка» была в 1949 году. Читайте, читайте! Документов, исследований, рассказов и ху-

дожественной литературы — море! Это море масштабнее и глубже «Войны и мира» XIX века!

Первой Отечественной войной справедливо была названа война с Наполеоном в 1812 году. Тогда население России составляло около 40 миллионов человек. Но сейчас мало кто знает, что следующей Отечественной войной называли участие России в Первой мировой войне: войну Российской Империи с Германской Империей и Австро-венгерской Империей в 1914–1918 годах. Она затем «плавно» перешла в Гражданскую войну внутри России. О Гражданской войне при советской власти написано и спето много, а Отечественную войну 1914–18 годов с немцами, австрийцами, венграми и чехами советская власть практически замалчивала. Мол, то была империалистическая война, она нам, мол, не была нужна! А сколько людей погибло на той на войне? А потом на Гражданской? Откуда взялись сироты?

На этом фоне мои родители, родители Туси и мы оба оказались благополучными людьми. Отсюда — название этой книги: «Времена, события, судьбы». Название, возможно, заурядное и бесцветное. Придумайте и подкажите другое!

Как оценивать родителей?

Я уже пережил возраст моего отца, хотя и не достиг возраста, до которого дожила моя мама. К своим 79 годам я, конечно, разобрался в характерах и поступках моих родителей. Каждый взрослый человек, сознательно или бессознательно, стремится к этому. Но разобраться «для себя» — это одно, а рассказывать об этом публично — совсем другое дело. Такое знание — материал для художественной литературы, для описания характеров под вымышленными именами. Не обо всём тактично писать, называя имена истинные.

Когда мы стали жить с мамой в Москве вдвоём, мне исполнилось 11 лет, и мы много общались, мама внушала мне нормы морали и поведения. Она не прибегала к иносказательности. Её «аргументами» были слова: «Ты должен... не уподобляйся...» и т. д. В более мягком варианте говорила: «Меня (её) учили...». Она говорила, что гордится тем, что «уберегла меня от плохих компаний». Всё это я запомнил, и это подсказки с плохо скрываемым подтекстом для моих внуков. Но главное, что я запомнил, были её слова: «Мама — святой человек, маму нельзя осуждать». И это — хорошая заповедь для детей. Но она важна и для мам ибо, может помочь мамам не давать детям повода нарушать саму заповедь.

Мною подмечено, что сыновья нередко бывают бездушны к своим мамам.

На протяжении всей своей жизни я не был ласковым человеком, не проявлял нежности в семье. Туся, сыновья (и, наверное, внуки?) знают это.



А это — наша внучка, Анна Андреевна, которая теперь носит гордую фамилию Поддубная, со своими тремя дочерями. Фотография 2012 года.

Отсутствие у меня потребности приласкать родных мне (и конечно любимых!) людей и отсутствие потребности быть обласканным — следствие моего характера, следствие затянувшейся с детства неразвитости души. Я стал это нехотя осознавать во второй половине жизни, благодаря друзьям. Увы, я не был ласков с моей слепой и беспомощной мамой, а она нуждалась в этом. Стоило только преодолеть себя и не обращать внимания на некоторые мамины привычки, на её стремление поучать, наставлять, и просто иногда ласково обнимать её... Делал ли я это? Не помню... А мама подсказывала, что нуждалась в ласке! Время от времени она говорила: «Как часто я вспоминаю свою маму, как мне плохо без неё!».

У меня много наблюдений и свидетельств о моём отце. Я не буду их касаться. Помню, что, когда в студенческом возрасте начал осуждающе отзываться о каких-то его действиях, и упомянул, что об этом «говорят люди», отец рассказал мне библейскую притчу о Ное и его сыновьях, и заключил: «Не уподобляйся Хаму». Это было в 1955 году, во время нашего с ним путешествия по Кавказу. Отец знал этот миф с гимназических лет, а я, с его

слов, запомнил главное из этого мифа-притчи и, помня ключевые имена, быстро нашёл этот миф почти через 60 лет в интернете. Вот что я прочёл:

«Сим, Хам и Иафет, в Библии — сыновья Ноя, от которых после Всемирного потопы «населилась вся земля». Хам был проклят Ноем за то, что насмеялся над наготой отца, и обречен на рабство. Сим и Иафет, которые проявили сыновнюю почитательность и прикрыли отца одеждой, были благословлены Ноем. В библейском родословии Сим, Хам, Иафет, их сыновья и внуки представлены родоначальниками — эпонимами больших групп народов: семитских (от эпонима «Сим»; народов Элама, Двуречья, Сирии, евреев и др.), хамитских (от «Хам»; народов Африки и др.) и яфетических (от «Иафет»; «яфетидов», отождествляемых с индоевропейскими народами)». Россия, как известно, населена индоевропейскими народами, и мы унаследовали их мораль. В общем, не судите строго родителей и не судимы будете!

Это — конец данной версии моих мемуаров.

Игорь Поддубный, муж моей внучки Анны, предложил опубликовать их в виде этой книги, взял на себя её издание, и я безмерно благодарен ему за это.

Ознакомьтесь с Приложением — в нём вы найдёте много интересного!

**Документы и рассказы
о В.Я. Тарковской и Ф.Р. Богданове**

Ванда Яновна Тарковская
(1900–1991)

Кандидат медицинских наук, военврач
(1939–1943)

хирург, ортопед-травматолог
с 44-летним стажем



В.Я. Тарковская

Воспоминания ортопеда 20-х годов

В 1921 году я, будучи студенткой 3 курса Харьковского мединститута, с несколькими студентами впервые посетила клинику Института ортопедии и травматологии (тогда он назывался Медико-механическим институтом). Нас приняли очень хорошо, тепло отнеслись к нам. В это время в Мединституте нам читал лекции по топографической анатомии проф. Карл Францевич Вегнер — директор Медико-механического института. Ассистентами проф. Вегнера были М.И. Ситенко и В.Д. Чаклин. С первого посещения Медико-механического института на меня произвела впечатление особая атмосфера доброжелательности, царившая в Институте, и сердечный приём, оказанный нам, студентам. Такого приёма мы в других клиниках не встречали. С нами вели беседы, разборы больных. Мы чувствовали себя не как ученики, а как равные. Много времени нам уделял Ситенко — каждое утро, до начала обхода, мы приходили в его кабинет на беседы. Ситенко в то время был главврачом Института и одновременно заведовал мужским отделением. Чаклин заведовал женским отделением. Очень поучительными и интересными были амбулаторные консультации, на которых доктор А.К. Приходько представлял больных. Разборы и обсуждения заболеваний, на которых присутствовали профессор и его ведущие сотрудники, были для нас хорошей учёбой. Здесь я впервые познакомилась с рентгенодиагностикой. На шестом курсе нескольким студентам — Скрыгину, Кураедовой, Апацкой и мне, — разрешили провести стаж по хирургии в Медико-механическом институте. Дипломную работу я защищала на тему: «Туберкулезный спондилит». После окончания мединститута в 1924 году я была направлена в Медико-механический институт в качестве интерна в отделение Ситенко. Это было большое отделение. Палаты распределялись по роду травмы: повреждение позвоночника, повреждение конечностей. Среди больных с переломами позвоночника было много шахтёров, были молодые больные, совсем юноши. Возможно, среди них находился и Николай Островский, который тогда ещё не был писателем и никому не был известен. Я работала в Институте до осени 1926 года.

Очень интересными были лекции, которые читал проф. К.Ф. Вегнер в Медико-механическом институте. На них собирались все сотрудники, много городских врачей и студентов. Вегнер сообщал новости методов лечения, которые он ежегодно привозил из-за границы. Так, одним из методов был метод лечения контрактур по Моммзену. Я очень хорошо помню больного, которого Ситенко поручил мне вести по этому методу. Это был больной по фамилии Кисель. Он пришел в Институт, опираясь на коленные суставы, с подогнутыми назад голеними. Случай был очень тяжёлый,

и только благодаря упорному терпению больного и настойчивому лечению при помощи закруток по Моммзену в течение почти года удалось без всякого оперативного вмешательства полностью исправить этим методом обе контрактуры. Последующее лечение массажем, лечебной физкультурой, припарками позволило поставить больного на ноги, и в шинно-гильзовых аппаратах при помощи костылей он смог передвигаться. Больной был тронут тем, что он впервые увидел перед собой свои стопы и пальцы ног. Он приехал на повторный осмотр в Институт и сообщил, что жители села стояли в очередь к его дому, чтобы посмотреть его исправленные ноги. До лечения его мать на его вопросы отвечала, что только Бог может вылечить его, а он после лечения сказал ей, что боги — это врачи. В это время проф. Вегнер начал бескровно вправлять у маленьких детей врожденные вывихи тазобедренного сустава по Лоренцу. Он делал вправление сам лично.

Я вела больных с переломами и очень увлекалась травматологией. Вегнер применял скелетное вытяжение с помощью гвоздя Штаймана, причем гвоздь вводил только он сам. Всё это обставлялось торжественно. Обычно присутствовали все врачи. Помогали профессору Фрол Васильевич Лукашов и операционная сестра. После введения гвоздя Лукашов накладывал вытяжение.

В Институте доминировал функциональный метод лечения переломов. Вегнер не признавал гипсовых повязок для этих целей и говорил: «Гипс — это гроб». Во время обхода все больные должны были по возможности двигать больными конечностями. Я с большим увлечением вела подобных больных. Для контроля правильности положения конечности и вытяжения всегда обращалась к Фролу Васильевичу, который с большим терпением и спокойствием объяснял ошибки и давал советы. Это был прекрасный, доброжелательный и скромный человек. Несмотря на то, что он был правой рукой профессора, он никогда не подчёркивал этого. Его наставлениями я руководствовалась во время моей долгой работы в травматологии и ортопедии.

Гипсовую технику я изучала под руководством Бартельса. Вспоминаю, как приготовлению гипсовых бинтов и правильному их смачиванию меня научила санитарка Маруся, которая работала в гипсовой.

В конце 1926 года я переехала в Москву и поступила ординатором в ГИФО, директором которого был профессор Мезерницкий. В Институте было три отделения: ортопедическое, возглавляемое Тимофеем Сергеевичем Зацепиным, отцом Сергея Т. Зацепина, неврологическое (проф. Хорошко) и терапевтическое (зав. — доктор Кокурин). Кроме того в Институте был ряд лечебных кабинетов: свето-, электро- и водолечение я — в это время в ортопедическом отделении лежало много подростков с последствиями

детского паралича. Мы с Тимофеем Сергеевичем широко применяли пересадку мышц и последующую физиотерапию: «ритмическую фарадизацию». Т.С. Зацепин вместе с пришедшим в Институт Ф.Р. Богдановым создал фильм «Поднимание ползающих». В ГИФО я впервые изучила применение физиотерапии при ортопедических заболеваниях, чего тогда ещё не было в Харькове в Медико-механическом институте.

После четырех лет работы в ГИФО в Москве я решила уехать на новостройку на Урал, в Свердловск. В это время я уже была замужем за Фёдором Родионовичем Богдановым. Я уговорила его ехать туда, где разворачивалась новая жизнь, где были нужны квалифицированные кадры врачей.

В Свердловске на базе Физиотерапевтического института было травматологическое отделение. Научным руководителем института был проф. Горбачёв из ГИФО. Я познакомилась с ним Чаклина. Горбачёв и его главврач пригласили Чаклина в Свердловск. Мы с Фёдором Родионовичем побывали перед этим в Харькове, обсудили с Василием Дмитриевичем возможности совместной работы на Урале. И вот Чаклин из Харькова и мы с Фёдором Родионовичем из Москвы одновременно приехали в Свердловск. Это было в 1930 году. В Свердловске началась кипучая организационная деятельность. Чаклин сумел превратить отделение травматологии Физиотерапевтического института в Уральский институт травматологии и ортопедии. Через 4 года была создана кафедра ортопедии и травматологии Свердловского мединститута. Такие же кафедры приказом Наркомздрава были открыты в Москве, Новосибирске, Казани. Мы с Ф.Р. Богдановым помогали В.Д. Чаклину как в организационной, так и в учебной работе.

В 1936 году мне присвоили ученую степень кандидата медицинских наук.

В 1938 году Фёдор Родионович стал доктором медицинских наук, профессором и начал заведовать кафедрой общей хирургии в Свердловском мединституте. Во время Великой Отечественной войны я работала в эвакогоспитале № 1705 в Свердловске в качестве начмеда и ведущего хирурга. Этот госпиталь в 1943 году был преобразован в больницу инвалидов Великой Отечественной войны, но через два месяца больница была слита с Институтом травматологии и ортопедии и сформирован Институт ВОСХИТО (восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии). Директором его был назначен проф. Ф.Р. Богданов, а я была назначена главврачом клиник института. В 1944 году по семейным обстоятельствам я переехала в Москву и начала работать ведущим хирургом, а затем начмедом в госпитале инвалидов ВОВ. На базе госпиталя затем была создана клиника ЦИТО, её консультантом стал профессор В.Д. Чаклин.

В 1960 году за безупречную долголетнюю работу я была награждена орденом Трудового Красного Знамени. В 1966 году после 42 лет работы практическим врачом я с сожалением вышла на пенсию. Была возможность

и силы работать, но нужно было заниматься внуком. Сын и его жена готовили в это время кандидатские диссертации. Сейчас мой сын, Юрий Фёдорович Богданов — доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе Института общей генетики им. Н.И. Вавилова АН СССР. Я живу в одном доме с ним, в квартире того внука Андрея, стажёра-исследователя Института органической химии АН СССР, ради учебы которого в 1 классе я должна была выйти на пенсию 18 лет назад. У него уже растёт дочь Анечка, а его младший брат Николай Богданов заканчивает в 1984 году 10 класс.

Февраль 1984 года.

ФОТОГРАФИИ И ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЖИЗНИ В.Я. ТАРКОВСКОЙ близко к хронологическому порядку



Надпись на фотографии рукой мамы: «1912 г. Святые горы, я возле тётки Эвелины, фройляйн Гильда, блонди [нка], Няня и 3 двоюродные сестры». Ванда, моя будущая мама, — первая слева, с маленькой кузиной на коленях.



Там же, в Святых горах, близ Славянска на Северном Донце, среди родственников Тарковских. Ванда Тарковская — в центре, слева от неё — дядя (в пиджаке и с галстуком). Около 1912 года.



Надпись на почтовой открытке рукой мамы: «Приглашение дяди Станислава приехать к нему во Францию и там в школе учиться. Это ещё до войны. В этом месте они жили. 2 часа езды от Парижа». Имеется в виду Первая мировая война.



Текст открытки от (мамино) дяди Станислава, с приглашением приехать жить и учиться во Францию. Текст начинается словами: «Любимая Вандуся».



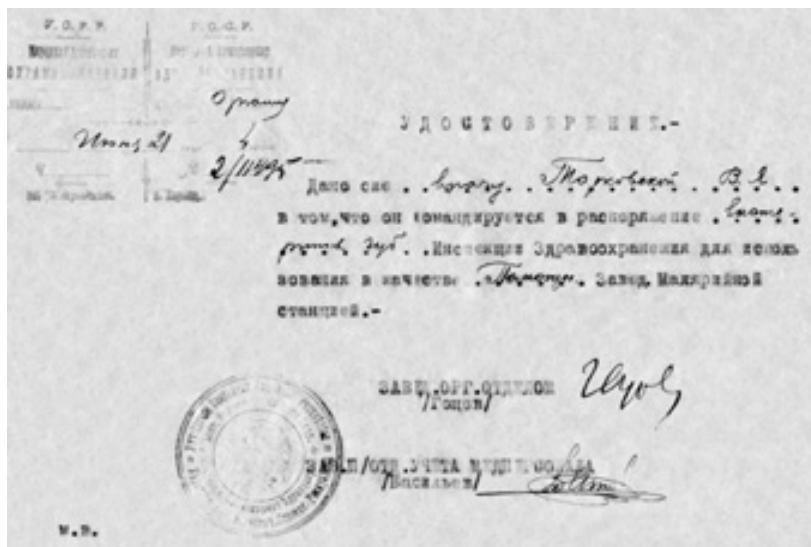
*Выпускница харьковской гимназии
Ванда Тарковская в 1918 году,
вероятно, с одним из своих дядей.*



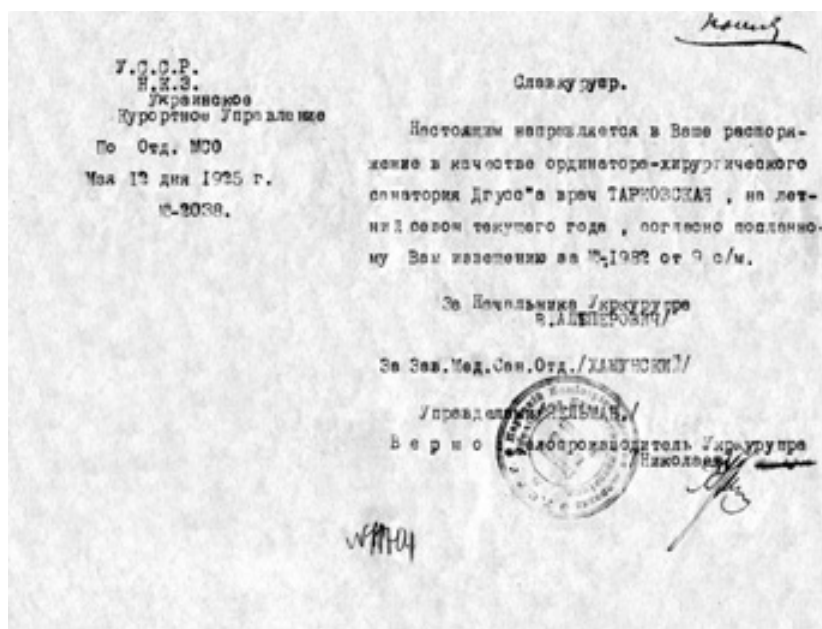
*Врач Ванда Тарковская на отдыхе
в Евпатории. 1929 год.*



В Харьковском Институте ортопедии и травматологии. 1924 год. В первом ряду: врач-ординатор В.Тарковская и директор клиники профессор К.Ф. Вегнер. Ещё один человек вырезан рукой мамы. Жалею, что не узнал, кем он был и почему вырезан? В верхнем ряду — врач Василий Скрыгин, ровесник и поклонник Ванды Тарковской, неоднократно, но безуспешно предлагавший ей руку и сердце.



Удостоверение доктору В.Я. Тарковской, направляемой в Екатеринославскую губернскую инспекцию здравоохранения для использования в качестве помощника заведующего малярной станцией. Датировано 21 июня 1924 года. По рассказам Ванды Яновны, это был изобретённый врачами способ продления летнего отпуска.



Заверенная копия документа Украинского курортного управления Наркомата здравоохранения Украинской ССР (датирован 12 мая 1925 года) о направлении врача Тарковской в качестве ординатора хирургического санатория на летний сезон 1925 года.



*Врач Ванда Тарковская с коллегами-врачами
Харьковского института ортопедии. 1924 год.*



*В Москве, в Государственном институте физиотерапии и ортопедии (ГИФО).
Осень 1927 года. В.Я. Тарковская — стоит третья слева; проф. Карл Францевич
Вегнер — сидит третий слева. В том году В.Я. и К.Ф. переехали из Харькова
в Москву и стали сотрудниками ГИФО.*



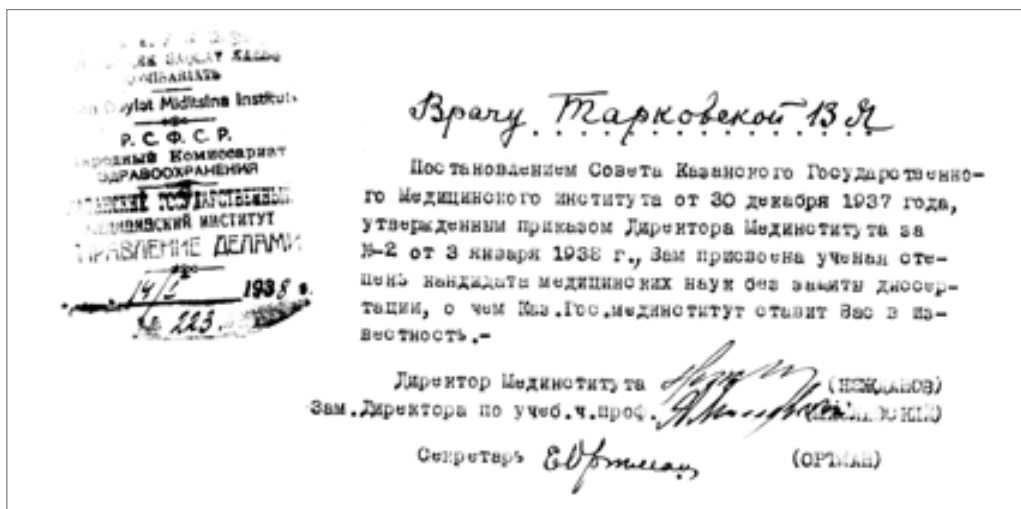
*Ванда Тарковская.
Конец 1920-х годов.*



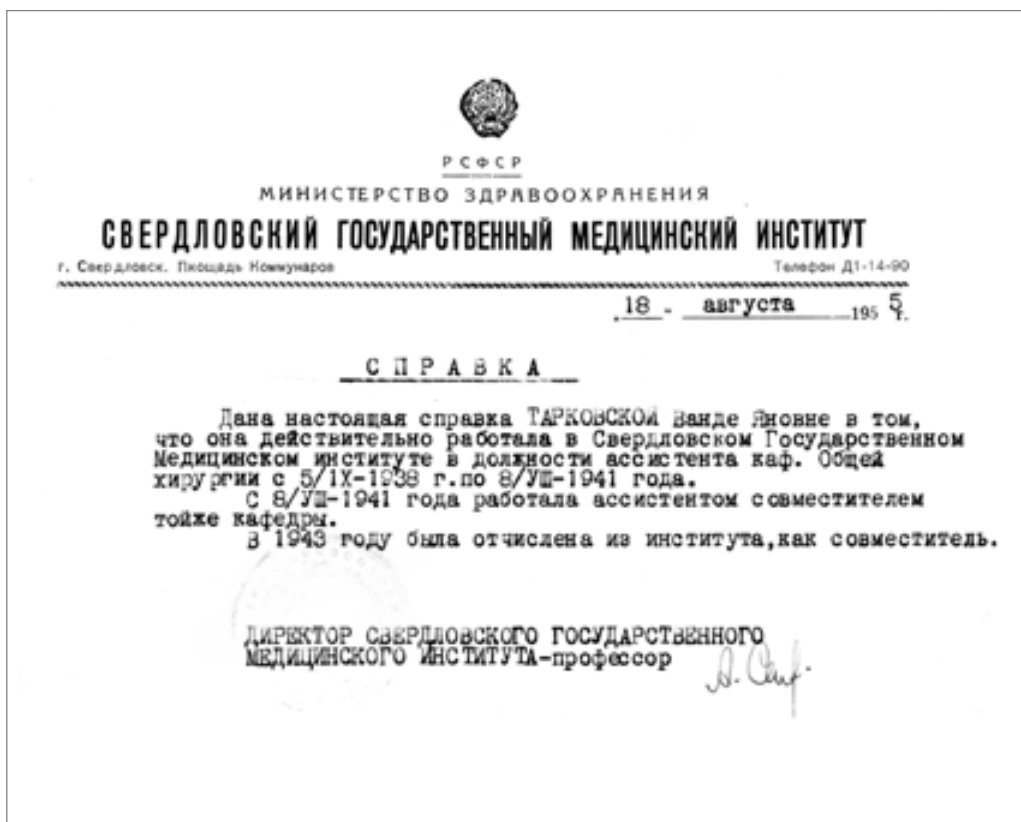
*Основной коллектив кафедры общей хирургии Свердловского мединститута,
1939 год. В первом ряду: В.Я. Тарковская, далее (кажется) Лубегина, Ф.Р. Богданов,
Бутикова. Второй ряд: второй слева, может быть, Иоффе, третий —
Богопольский.*



В Свердловске, начало 1932 года. В.Я. Тарковская и Ф.Р. Богданов в своей комнате общежития Свердловского мединститута. На оборотной стороне фотографии рукой мамы написано: «После смерти первого сына» (и до рождения второго сына — Витольда). Предметы из обстановки этой комнаты — кресло, бамбуковый столик, бюст Луи Пастера — существуют в нашей семье до сих пор. Письменный стол проф. К.Ф. Вегнера (виден справа) стоял у нас в Москве в квартире на Гольяновской улице, пока я учился в школе.



Постановление Совета Казанского государственного медицинского института от 30.12.1937, утвержденное директором института 03.01.1938, о присуждении В.А. Тарковской учёной степени кандидата медицинских наук.



*А это уже эвакуогоспиталь № 1705 во время
войны СССР с Финляндией, 1939–1940 гг.*



Эвакуогоспиталь № 1705, Свердловск. 1940 год. 2-е отделение (зав. отделением — военврач III ранга В.Я. Тарковская) награждено Переходящим Красным знаменем госпиталя. В центре — военврачи Н.Ф. Кабакова и В.Я. Тарковская.



Медперсонал, военный персонал и раненые 2-го отделения ЭГ № 1705. Вторая слева (сидит) В.Я. Тарковская (в халате после операции). В центре — Н.Ф. Кабакова (в форме и халате). 1940 год.

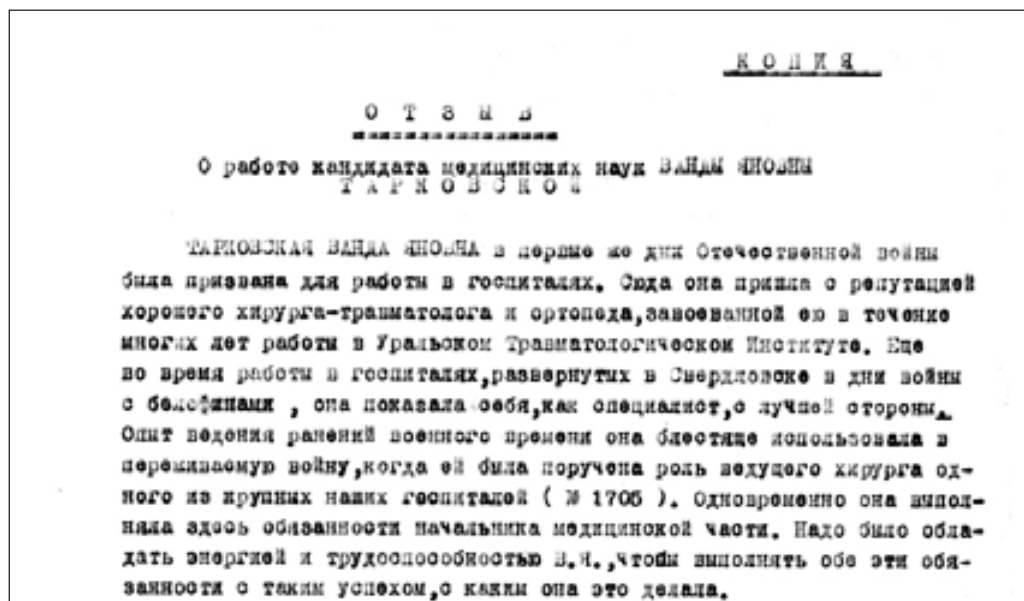
Великая отечественная война с Германией, 1941–1945 гг.



Стенгазета, выпущенная в Институте ВОСХИТО СНИИТО в 1975 году, в Свердловске, в год 30-летия Победы и посвященная истории эвакогоспиталя № 1705 (1940–1943 гг.), на базе которого в 1944 году была сформирована главная клиника Института. Первая колонка слева посвящена главному хирургу госпиталя и начальнику медицинской части В.Я. Тарковской (верхний портрет в левой колонке), во второй колонке верхний портрет — доктор Н.Ф. Кабакова.



Солнечные ванны для раненых во дворе Госпиталя № 1705.



*Это фотокопия начала машинописной характеристики
В.А. Тарковской (1943 год).*

О Т З Ы ВО работе кандидата медицинских наук
ВАНДЫ ЯНОВНЫ ТАРКОВСКОЙ

ТАРКОВСКАЯ ВАНДА ЯНОВНА в первые же дни Отечественной войны была призвана для работы в госпиталях. Сюда она пришла с репутацией хорошего хирурга-травматолога и ортопеда, завоеванной ею в течение многих лет работы в Уральском Травматологическом Институте. Еще во время работы в госпиталях, развернутых в Свердловске в дни войны с белофиннами, она показала себя, как специалист, с лучшей стороны. Опыт ведения ранений военного времени она блестяще использовала в переживаемую войну, когда ей была поручена роль ведущего хирурга одного из крупных наших госпиталей (№1705). Одновременно она выполняла здесь обязанности начальника медицинской части. Надо было обладать энергией и трудоспособностью В. Я., чтобы выполнять обе эти обязанности с таким успехом, с каким она это делала.

Прекрасный травматолог, не успокаивающийся на достигнутом, исключительно требовательная к себе и окружающим, непримиримая в отношении дефектов лечения, она сумела с самого же начала поставить работу всего госпиталя так, что последняя приняла характер клинической.

Первая в наших госпиталях она начала применение методов вытяжения при лечении огнестрельных переломов, вначале бедра, а затем голени и костей предплечья. Этот метод она начала применять еще во время войны с белофиннами, а в 1941 г. она уже широко им пользовалась у себя в госпитале, пропагандируя его на конференциях области и округа. Она же, как одна из первых среди ведущих хирургов, начала применять еще в начале 1942 г. ряд пластических операций, например, при незаживающих ранах мягких тканей и т.д. Она же одной из первых начала прибегать к ранним секвестротомиям при огнестрельных остеомиелитах. Особо следует отметить огромную работу, проделанную В.Я.Тарковской по внедрению лечебной физкультуры и физио-бальнеоцелотерапии в своем госпитале. Уже с 1942 г. здесь был налицо весь комплекс этих видов лечения, очень широко применявшихся по ее настойчивому требованию всеми врачами госпиталя. Вскоре же руководимый ею госпиталь стал показательным и учебной базой для всей нашей обширной госпитальной сети в этом разделе лечения огнестрельных ранений.

В результате огромной работы В.Я. ТАРКОВСКОЙ, знавшей всех раненных и течение ранения каждого и них, лично наблюдавшей каждый более или менее тяжелый случай или осложнение, госпиталь

добился лучших результатов в [Свердловской] области. Следует подчеркнуть, что прекрасными этими результатами не только в отношении % выписки в часть, но и в отношении состояния, в котором раненые, признанные негодными к службе в К[расной] А[рмии], выписывались из госпиталя. Здесь почти не было тех порочащих положений конечностей, с которыми столь нередко выписывались в первые годы войны. Доктор ТАРКОВСКАЯ добивалась восстановления трудоспособности с той настойчивостью, с какой она добивалась восстановления боеспособности.

По приказу Наркомздрава весной 1943 г. мы должны были превратить один из лучших наших госпиталей в больницу восстановительной хирургии. Выбор пал на госпиталь Ванды Яновны как один из лучших, где установилась с особой прочностью высокая культура лечебной работы, где ею же были воспитаны кадры хирургов-ортопедов и травматологов, и где имелось прекрасное оборудование, а главное, мощные установки для физио-бальнео и грязелечения. Доктор ТАРКОВСКАЯ была назначена Главным врачом этой больницы. С совершенно исключительной настойчивостью, умением и любовью она создала эту больницу. Трудности, с которыми она встретилась здесь, усугублялись тем, что перед нею не было образцов работы подобных больниц. Эти формы работы надо было создавать самостоятельно и заново. С этой работой она прекрасно справилась. Сама захваченная интересом создания, она сумела привить это чувство всем своим сотрудникам, и в результате была создана очень хорошая больница, занявшая одно из первых мест.

Следует отметить характерную черту в работе В.Я. ТАРКОВСКОЙ: свою лечебную работу, где бы она ни проводила ее, она талантливо увязывает с преподавательской. Нельзя себе представить ее не окруженной группой молодых врачей, с жадностью воспринимающих все, что так щедро и умело она преподносит им. Особой задушевностью и мягкостью следует охарактеризовать отношение В.Я. ТАРКОВСКОЙ к больным, С какой-то особой теплотой и сердечностью она выхаживала десятки тяжелейших раненых и больных, не знала отдыха ни днем, ни ночью. За это больные платят ей исключительным доверием и любовью.

Приходится сожалеть, что в силу ряда обстоятельств В.Я. ТАРКОВСКАЯ оставляет Свердловск, где она создала себе имя исключительно человека и товарища и высокообразованного и культурного врача.

п. п. Начальник Отдела Эвакогоспиталей
Свердловского Облздравотдела ЛИБЕРМАН

Копия верна: Секретарь (Валыкина)



Прощальный адрес, написанный сотрудниками Института ВОСХИТО, бывшими сотрудниками госпиталя № 1705 и Больницы инвалидов ВОВ в ноябре 1944 года при отъезде В.Я. Тарковской из Свердловска на работу в Москву

дителем во всех больших и малых делах нашего учреждения. Вы были, прежде всего, блестящим организатором продуманного, научно-обоснованного лечебного процесса в результате чего наш госпиталь давал высокие качественные показатели своей работы. Ваша кипучая энергия и подлинный энтузиазм в труде заражали весь коллектив от Ваших ближайших помощников-врачей до няни. Мирская эрудиция, настоящая глубина знаний, большой практический опыт, снискавший исключительную высокую квалификацию в сочетании с необычайной скромностью — делали контакт врачей госпиталя с Вами весьма ценным и чрезвычайно приятным. Вы вырастили абсолютно

3

„действенных“ в травматологии и ортопедии врачей в специалистов этой отрасли хирургии, хорошо владеющих техникой своего дела.

Вы вырастили кадры людей, могущих справиться со сложными задачами восстановительной хирургии и в этом большая Ваша заслуга.

Вам отличное знание сущности организации лечебного процесса во всей его многогранности, обусловили законную требовательность в отношении среднего и низшего персонала в сочетании с повседневной работой с сестрами и нянями, с воспитанием их в духе высокой культуры лечебного учреждения и человечности.

4

Вы были образцом отзывчивости и любви к больному и раненому бойцу Красной Армии, по которому старались равняться все члены нашего коллектива. „Любовь рождает любовь“ в ответ на Ваше внимательное и сердечное, глубоко-человечное отношение, больные отвечали Вам искренней любовью и глубоким ублажением.

Когда перед Советским Задравоохранением встали новые задачи и наш госпиталь должен был преобразоваться в учреждение нового типа, Ваша воля, творческая энергия, Ваши специальные познания и огромный организационный талант были мобилизованы на выполнение

5

этой ответственной задаче и в короткий срок в Свердловске было создано прекрасное лечебное учреждение – больница восстановительной хирургии инвалидов Отечественной войны.

Сна – подлинное Ваше детище – плод огромного труда и доказательства большой любви к делу, к защитнику нашей Родины, пострадавшему в борьбе за её свободу и независимость, к Советскому народу.

Нам грустно расставаться с Вами не только потому, что Вы являетесь на редкость ценным, отличным работником и врачом, но и Ваши личные качества – внимание к нуждам сотрудников, дружеское, хорошее отношение ко всем – сделали Вас нашим близким, любимым товарищем. В нашей разлуке с Вами нас несколько может уте-

иметь лишь сознание, что Вы идете
на более ответственную и большую
работу, что перед Вами ми-
р творческими возможностями от-
крываются новые просторы.

Коллектив сотрудников
Свердловского Института
Росстановительной Хирургии
от всей души желает Вам
много здоровья, сил, счастья
и новых успехов на новой пути!

Грибач, Березина, Пурдун
Ковалев, Сухомеж, Орлов
Домин, Терентьев, Райнберг
Челяховская, Гасман, Шварц
Ростов, Макаров, Аронзон
Дорашева, У. Хоффман, Миханович
Синица, Аверсман, Званский
Заткин, Аверсман, В. Матвеев
Митин, Гурин, Митин
Кондратьев, Игнатьев, Коса
Дорашева, Игнатьев, Коса
Миханович, Игнатьев, Коса
Синица, Игнатьев, Коса
В. Матвеев

**Работа В. Я. Тарковской в Москве,
начиная с 1944 года**

Исполком
Московского Город. Совета
депутатов трудящихся
Отдел Здравоохранения
МОСКОВСКИЙ
Городской госпиталь № 7
И. Денисов в ст.
№ 9-24
Адрес: _____
Телефон: _____

С П Р А В К А
=====

Кандидат медицинских наук В. Я. ТАРКОВСКАЯ была назначе-
на Мосгорздравотделом на должность Заместителя Главного врача и
ведущим хирургом Больницы Восстановительной хирургии в г. Моск-
ве с 2 октября 1943 года.

Затем в связи с реорганизацией Больницы в Госпиталь инва-
лидов Отечественной войны с ноября месяца 1945 года состояла в
должности Начальника медицинской части и ведущим хирургом.

В декабре месяце 1945 года в связи с изменением профиля
Госпиталя на туберкулезный В. Я. ТАРКОВСКАЯ продолжала работать
в должности Начальника медицинской части и Заведующей костно -
туберкулезным отделением. В этой должности продолжала работать
по 3 декабря 1951 года.

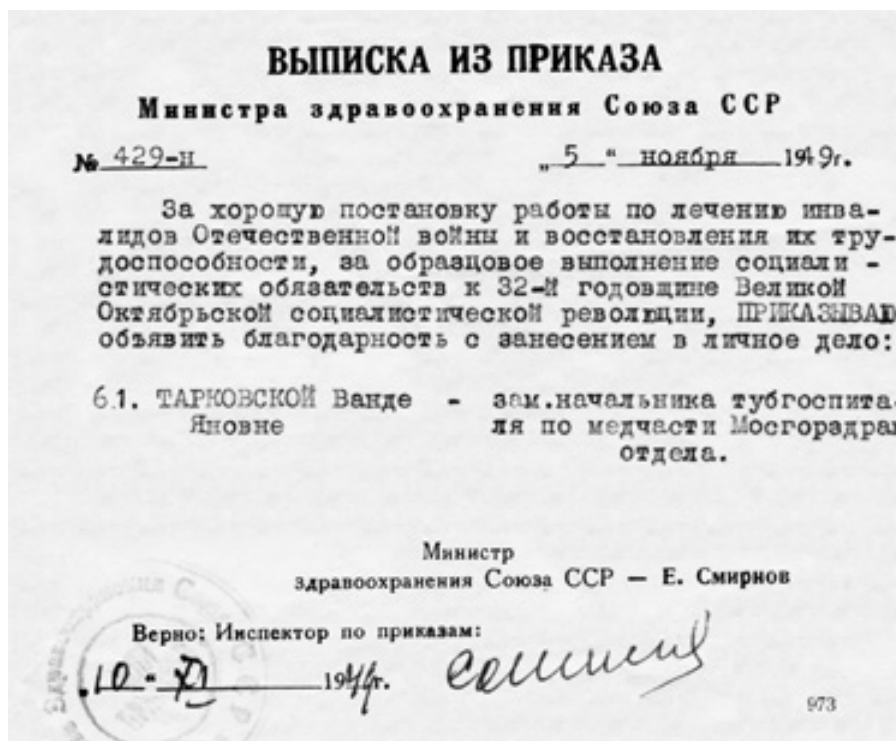
С 4 декабря 1951 года приказом Мосгорздравотдела переве-
дена на работу в Ортопедический госпиталь инвалидов Отечест-
венной войны в г. Москве в должности Начальника медицинской части.

НАЧАЛЬНИК ГОСПИТАЛЯ
ПОДПИСАНИК И/СЛОВА: -

(РОГАЧЕВСКИЙ)

Справка, выданная маме при её переходе на работу из Туберкулёзного госпиталя
инвалидов Отечественной войны в Черкизове в Ортопедический госпиталь
инвалидов Отечественной войны на 2-ую Дубровскую ул., Москва, декабрь 1951 года.

Год начала работы в Москве (1943) указан неправильно. В действительности
то был 1944 год, что подтверждается другими документами.



Врачи и медсёстры Московского городского ортопедического госпиталя инвалидов Отечественной войны на 2-ой Дубровской улице. Сидят: 4-й слева — начальник госпиталя С.Н. Воскресенский (в шапочке), 5-я слева — В.Я. Тарковская. 1950-е годы.



Там же, слева направо: Сергей Николаевич Воскресенский, Ванда Яновна Тарковская, шофёр и выписывающийся пациент.



Москва, 1960 год. Ванда Яновна снова работает в одном институте с проф. В.Д. Чаклиным и сотрудничает с ним. Так было в 1923–1926 годах в Харькове и в 1931–1938 годах в Свердловске. Так стало в 1951 году и продолжалось до 1966 года в Москве. На снимке: В.Д. Чаклин в первом ряду третий слева. Он — научный руководитель-консультант Московского городского ортопедического госпиталя; В.Я. Тарковская — начальник медицинской части этого госпиталя — во втором ряду первая справа.



Празднование 70-летия Начальника Мос. гор. ортопедического госпиталя Сергея Николаевича Воскресенского. Сидят слева направо: второй — юбиляр, четвёртый — профессор Василий Дмитриевич Чаклин, далее — Ванда Яновна Тарковская. Одна из трёх (кроме В.Я.) сидящих женщин — дружившая с В.Я. консультант госпиталя, доктор мед. наук Роза Львовна Гинзбург. 1960-е годы.



*Ванда Яновна Тарковская.
Конец 1950-х годов.*

Фёдор Родионович Богданов
(1900–1973)

*Член-корреспондент АМН СССР
Заслуженный деятель науки РСФСР
доктор биологических наук, профессор
военврач второго ранга
и полковник медицинской службы
(1940–1960)*



Из книги
**«Хирург Фёдор Богданов.
К столетию со дня рождения»**

Сборник статей (ред. Э.К. Николаев¹)
Издательство СВ-96. Екатеринбург. 2000

Выбрано лишь четыре из 15 очерков, опубликованных в книге, и они приведены с купюрами. Интересно то, что вся книга задумана и составлена врачами из Екатеринбурга через 50 лет после того, как Ф.Р. Богданов покинул бывший свой институт и город Свердловск-Екатеринбург (примечание Ю.Ф.Б.).

Ю.Ф. Богданов

О моём отце Фёдоре Родионовиче Богданове

Три черты личности отца запечатлелись в моей памяти наиболее отчетливо. Во-первых, он был энергичным, крепким и жизнелюбивым человеком. В основе этого было его физическое здоровье и подвижный, сангвинический темперамент. Второй чертой была увлеченность делом, которому он посвятил свою жизнь, — ортопедией, масштабной организаторской деятельностью в медицине. Наконец, обращало на себя внимание, казалось бы, лёгкое и естественное для него сочетание профессиональной активности со светским образом жизни и умением жить комфортно. Это ему давалось без видимых со стороны усилий, хотя ясно, что основой такого сочетания были повседневный труд, крепкое здоровье и его жизненные установки.

Умение обобщать и не погружаться в детали тоже было отличительной чертой отца. В ответ на мои попытки рассказать ему чрезмерно детально о своих учебных или рабочих проблемах он всегда спрашивал меня о том, какие я вижу причины тех или иных обстоятельств или неудач, какие выводы сделал и что собираюсь предпринимать. Советы его основывались на большом жизненном опыте. Он все воспринимал активно, сразу подвергал анализу и искал практические решения. Очевидно, что именно эта способность лежала в основе его успехов. Свои неудачи он воспринимал болезненно, и мириться с ними не хотел.

Его регулярная врачебная деятельность, насколько я знаю, началась в Москве в виде бесплатного совместительства в Государственном институте

¹ Эдуард Константинович Николаев — зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии Уральской гос. медицинской академии, доктор мед. наук, профессор, член Европейской академии анестезиологии, Заслуженный деятель науки РФ, ученик Ф.Р. Богданова.

физиотерапии и ортопедии (ГИФО) на Петровке. А зарплату и жилплощадь он получал от Комитета по делам народов Севера при ВЦИК СССР, ведал там вопросами здравоохранения. Молодому выпускнику вуза служить на подобной государственной службе, конечно, было наиболее «хлебно» и благополучно в 20-е годы: отец окончил 1-й Московский мединститут в 1925 году. А в ГИФО он (когда-то в конце 20-х годов) начал с сотрудничества с профессором Тимофеем Сергеевичем Зацепиным. Тот поручил ему создать документальный кинофильм об отдалённых последствиях ортопедического и физиотерапевтического лечения суставов. Фильм был создан и демонстрировался во врачебных аудиториях. Возможно, на основе опыта создания этого фильма и зародилась направленность дальнейшей деятельности Фёдора Родионовича на суставную травматологию и ортопедию. В 20-е годы кино, как известно, было новаторским явлением в медицине и вообще в жизни. Склонность к новаторству стала привычкой и естественной профессиональной чертой Фёдора Родионовича как хирурга-ортопеда. Это сказалось в разработке им метода металлоостеосинтеза и в использовании экспериментальной хирургии на животных с гистологическим контролем последствий этих операции, которые проделывали его ученики и коллеги для того, чтобы проверить правильность подходов при планировании операций на пациентах. Я помню, что такие исследования он вёл в Свердловске с В.И. Фишкиным, в Киеве с зоологом П.М. Можугой и со многими другими коллегами.

В ГИФО отец познакомился с моей будущей мамой, Вандой Яновной Тарковской, переехавшей из Харькова в Москву в 1928 году вслед за своим учителем, профессором К.Ф. Вегнером.

Двадцатые годы, проведенные Фёдором Родионовичем в Москве, сдружили его со столицей, многими её жителями, московской культурой. Работая в дальнейшем 27 лет в Свердловске, он регулярно и часто приезжал в Москву и погружался в обстановку своих молодых лет.

Не знаю, до начала мхатовского эпизода или в результате него, но он подружился с семейством В.И. Немировича-Данченко, немного ухаживал за невесткой Владимира Ивановича, красавицей Зоей Александровной Немирович-Данченко, которая в 40-50-е годы была солисткой Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, неизменно получал от неё дружеский отпор, но они оставались хорошими приятелями и навещали друг друга в Москве, в Свердловске и в Киеве до последних дней Фёдора Родионовича. В конце 40-х годов я бывал с отцом в гостях в этой семье, а с Зоей Александровной встречался и поддерживал дружеские отношения до конца 70-х годов. В 1977 году на прогулке в Массандровском парке в Крыму она рассказывала мне эпизоды их молодости.

Старые мхатовцы — Ливанов, Москвин, Топорков и другие — бывали в доме у Фёдора Родионовича в Свердловске во время эвакуации МХТа в годы Великой Отечественной войны и позже, в периоды гастролей на Урале, а он не упускал случая побывать в московских театрах во время командировок в столицу.

Живя с мамой с 1944 года в Москве, я часть летних каникул регулярно проводил у отца в Свердловске, а с 1958 года навещал его в Киеве и всегда не переставал удивляться его тяге к общению с людьми, приглашению в дом гостей и желанию доставить им удовольствие. Ранг гостей не имел никакого значения, самые разные люди приглашались в дом, если только у Фёдора Родионовича был хоть час времени, принимались одинаково радушно, а если выяснялось, что кому-то он чем-то может помочь, то он делал всё, что было в его силах, будь то медицинская помощь, протекция или просто добрый совет.

Кстати, о рангах. Летом 1970 года я с семьей: женой, двумя сыновьями и старенькой няней, Домной Андреевной, приехал к отцу в Киев, в отпуск, пожить на даче в Кичеево, около Ворзеля. Для Домны Андреевны это был первый в жизни выезд за пределы Московской области и тем более первый полет на самолете. Полет она восприняла равнодушно: летели гладко, в окно ничего не видно, сели в самолет, посидели и вышли. Разве это дорого! А вот когда дома отец упомянул, что недалеко есть большой действующий храм, а в воскресенье предстояла Троица, тут у Домны Андреевны загорелись огоньки в глазах. Отец это уловил и сказал, что отведет её в церковь. Это был Владимирский собор, недавно отреставрированный; живопись Васнецова на колоннах и стенах была великолепна, собор был чист и наряден. Встали они вдвоём рано утром, и отец повел Домашу (так звали её в семье) к началу утренней службы. Службу отстояли вместе. После службы отец как-то так устроил, что она попала на исповедь к самому митрополиту, а сам он стоял за оградой собора, на площади, терпеливо дожидаясь её, и потом объяснил, что не хотел долго находиться внутри: он был проректором, членом парткома института и опасался, что «не так поймут», если увидят. Завистники у него имелись, и методы у них бывали разнообразные... Домна Андреевна вернулась из собора сияющая; я ни до, ни после не видел её в таком просветленном состоянии, с таким выражением счастья на лице; и она всегда потом вспоминала, какой Фёдор Родионович понимающий и добрый.

Здоровая природа позволяла отцу вести энергичный образ жизни. Я помню, как-то в Киеве, ему тогда было лет 68-69, он пришёл с работы домой после 5 часов дня, пообедал и сказал, что ляжет на 20 минут поспать, но через 20 минут я обязательно должен разбудить его, потому что ему нужно будет позвонить по телефону по важному делу. Засыпал он легко и быстро, я удивлялся и завидовал этому качеству. И в тот раз он глубоко заснул,

как только голова коснулась подушки. Спустя 20 минут он продолжал грубоко спать, мне стало жаль будить его: я знал, что он встал рано и устал на работе. Я посмотрел на него, спящего, и решил дать поспать ему еще 10 минут. Через 5–7 минут я услышал, что он набирает телефонный номер, а после состоявшегося делового разговора он со сдержанной досадой сказал мне, что его просьба ко мне была серьёзной, и что так, как я, в серьёзных делах поступать нельзя. После 25-минутного крепкого сна он опять был бодр и энергичен весь вечер.

Как-то отец, после возвращения с работы, попросил меня сходить за хлебом к столу, потому что кто-то придет к нему через час. Я ответил: «Хорошо», — и продолжал дочитывать абзац в книге (булочная была напротив, и я знал, что через 10 минут вернусь с хлебом), но не более чем через 1–2 минуты я услышал, как он надевает в прихожей ботинки, плащ и собирается за хлебом. — «Куда ты, ведь я же обещал?» — «Ты слишком занят, у тебя ведь отпуск», — проворчал он с сарказмом, и обогнать, и тем более остановить его было очень трудно. Физической силы, в прямом смысле, у него хватало. Как-то раз, мне тогда было 35–36 лет, а ему уже под 70, он, обняв меня за торс, на спор, легко скрутил меня «в бараний рог».

Однажды в мои студенческие годы случай, связанный с двумя спортивными травмами и травматологической деятельностью отца и матери, позволил мне приобрести новый жизненный опыт. Мне было почти 19 лет. На занятиях в спортивном зале МГУ в марте 1953 года я получил тяжёлый закрытый перелом правого бедра. Я попросил медицинскую перевозку доставить меня в Московский городской ортопедический госпиталь, где начальником медицинской части была моя мать. Мама сама взялась за лечение и положила меня на вытяжение. Отец быстро прилетел в Москву, и я попросил его срочно сделать мне операцию металлоостеосинтеза, чтобы поскорее встать на ноги. Через сорок дней предстояла экзаменационная сессия, после неё — романтическая летняя практика на Звенигородской биологической станции МГУ под Москвой, и я не хотел отставать от своих товарищей. Однако отец сказал, что оперировать меня он не будет: не полагается оперировать родных. Хирург должен работать с полным самообладанием и смело, а вести себя так, оперируя сына, вряд ли возможно. Кроме того, по его мнению, мой перелом не требовал операции и должен был поддаться хорошему восстановлению путем вытяжения. И ещё он добавил то, что я и сам понимал, а именно, что моя мама имела за плечами хорошую школу и большой опыт лечения переломов и знала, что делать; да и бескровные методы лечения не требуют от травматолога такого эмоционального напряжения, как операция.

Ведущим хирургом госпиталя, где я лежал (филиала ЦИТО), был Василий Дмитриевич Чаклин. Поэтому В. Д. Чаклин, Ф.Р. Богданов и В.Я. Тарковская

провели совместный консилиум. Хотя в жизни между ними бывали разные коллизии, они умели ценить профессиональный уровень друг друга, а давнее знакомство и исходная принадлежность к одной травматологической и ортопедической школе определяли их взаимопонимание и согласие в тех случаях, когда амбиции были неуместны.

В итоге лечения я через три месяца уже был на биологической станции. Экзамены я умудрился сдать, лёжа в палате: деканат пошёл навстречу, и однокурсники привозили ко мне всех экзаменаторов. А в Свердловске, примерно в это же время, лечился у отца другой участник предстоящей встречи.

В 1952 или 1953 году Фёдор Родионович с помощью металлоостеосинтеза у себя в ВОСХИТО исправил неправильно сросшийся в условиях провинциальной больницы перелом у мастера спорта по альпинизму Владислава Диомидовича Лубенца, доцента МВТУ им. Баумана. Лубенец был замечательным, сильным и мужественным человеком. Позднее он стал профессором, заведующим кафедрой в МВТУ, а в ВОСХИТО его привели последствия падения с горного склона, когда он чудом остался жив и с переломом голени трое суток полз из ущелья, пока его не обнаружили спасатели. Операция, сделанная Фёдором Родионовичем, позволила Владиславу Диомидовичу снова ездить в горы. Лубенец подружился с отцом и пригласил его с семьёй провести отпуск в альпинистском лагере «Алибек» на Кавказе. Фёдор Родионович сам никогда не занимался спортом и вообще смотрел на спорт через статистику травматизма. Но рассказы Лубенца о прекрасных горах сделали свое, отец решил ехать и пригласил в компанию меня. В альплагере, через год после больничных коек, встретились опытный преподаватель, мастер альпинизма и студент-новичок, которых в тот момент объединял лишь опыт лечения их переломов. Опыт был, правда, весьма не схожий: мастеру спорта избавление от перелома далось тяжелее, и в его случае нельзя было обойтись без операции. Отец познакомил меня с В.Д. Лубенцом, и мы, бывшие пациенты, зашагали по горам, а профессор Ф.Р. Богданов с удовлетворением наблюдал за нами. Сам он ограничился прогулками в окрестностях лагеря, а я получил альпинистские навыки и воспоминания на всю жизнь.

На семидесятом году жизни отцу пришлось мобилизовать все свои могучие силы на преодоление внезапно и скоротечно развившейся болезни. После сделанной ему тяжёлой операции Фёдор Родионович вновь приступил к активной работе. Он умел скрывать свои физические страдания, и мало кто догадывался, чего ему стоило оставаться деятельным и требовательным к себе и окружающим.

Расскажу ещё об одном эпизоде из жизни отца. Мне о нём сообщила Людмила Александровна Исаева. Она рассказала эту историю в конце 80-х

годов, уже будучи академиком АМН СССР, заведующей кафедрой и клиникой детских болезней 1-го Московского медицинского института. Незадолго до этого рассказа мы с Наташей лечили у неё нашего младшего сына Николая. В рассказе Людмилы Александровны речь шла о конце 40-х годов, когда она только что окончила медицинский институт или аспирантуру, была красивой молодой женщиной, но инвалидом из-за перенесённого в детстве полиомиелита. При первой встрече Людмилы Александровны и Фёдора Родионовича я присутствовал сам, поэтому продолжение истории, начавшейся за 40 лет до рассказа, было для меня особенно интересным. Я был ещё школьником, отец во время командировок из Свердловска в Москву обязательно виделся со мной, но, так как время у него было ограничено, он иногда сочетал общение со мной с приёмами посетителей или брал меня с собой в гости к знакомым. Людмилу Александровну привезли к нему для консультации в гостиницу, где он остановился. Я бы отправлен в холл на время осмотра, а потом, уже при мне, Фёдор Родионович безапелляционно заявил: «Людмилочка, Вы приедете ко мне в Свердловск в ВОСХИТО, я буду Вас оперировать и сделаю Вам новые ножки». Я запомнил эту встречу из-за высокой степени инвалидности пациентки, её красивого молодого лица, а также потому, что знакомство с ней продолжилось и переросло в дружеские отношения. Людмила Александровна поехала в Свердловск, и Фёдор Родионович сделал сложную операцию. Она действительно позволила Людмиле Александровне в дальнейшем передвигаться без посторонней помощи и прожить насыщенную семейным благополучием и блестящей врачебной карьерой жизнь, а эпизод, о котором она рассказала на склоне лет, был таков. После операции остеосинтеза, проведённой Фёдором Родионовичем, ей наложили обширную глухую гипсовую повязку. Фёдор Родионович проявлял к Людмиле Александровне особое внимание, потому что он долго вынашивал замысел этой операции и надеялся на хороший результат.

Дело было под Новый год. Вечером 31 декабря Федор Родионович появился у нее в палате, справился о самочувствии, посмотрел температурный листок и попросил надеть на неё нарядную кофточку, а ноги в гипсе задрапировать. После этого распорядился спустить её из палаты к машине, сам уложил на сиденье, привёз к своему дому, а там взвалил её себе на спину, «на закорки», как «муку вешают», то есть спина к спине, продев руки ей под локти, и понёс её пешком к себе домой, на пятый этаж: лифта в доме не было. Жил он тогда на ул. Ленина, 52 в доме, что стоит вдоль ул. Бажова. Дом был полон гостей, готовились к встрече Нового года. Людмилу Александровну как-то специально пристроили к столу. Гипсовая повязка не позволяла ей сидеть, но всё было заранее продумано. Даже проблема отдыха после застолья была предусмотрена: гостью-пациентку устроили на приготовленном топчане, чтобы дать ей поспать и прийти в себя пе-

ред возвращением на больничную койку. Да и «носильщику» надо было отдохнуть после весёлого застолья. Альпинисты говорят, что вниз идти, особенно с грузом на спине, труднее, да и с похмелья они не ходят! Фёдору Родионовичу было тогда чуть меньше 50. Встреча этого Нового года была самым замечательным новогодним праздником в жизни Людмилы Александровны и, по её словам, очень помогла ей психологически преодолеть трудности длительного послеоперационного лежачего пребывания в гипсе.

Этот случай был характерен для стиля жизни и образа действий Фёдора Родионовича. В таком единении профессии с жизнью он и остался в моей памяти.

1997 г.

А.А. Герасимов¹

Наследие Богданова

Научное наследие Фёдора Родионовича Богданова большое и разнообразное. В круг его интересов входила вся хирургия, но предпочтение отдавалось ортопедии и травматологии. Краткий перечень его научных работ включал вопросы внутрисуставных повреждений, огнестрельных остеомиелитов, дефектов большеберцовой кости, несовершенного остеогенеза, врождённого вывиха бедра <...> и многих других патологий.

В настоящее время взгляд на проблемы изменился. Появились другие методы лечения. Тем не менее, врачи последующего поколения помнят и ценят работы Богданова. Какие же разработки сделали его имя бессмертным? Сейчас, в эру высоких технологий, среди авторов многочисленных видов металлоостеосинтеза имя Богданова занимает почётную строчку.

Основой травматологической науки была, есть и будет проблема правильного соединения костей, восстановления анатомии кости <...>. С незапамятных времён, идущих от Гиппократов и народных костоправов, соединение костей и удержание их в правильном положении было искусством. Идеального вправления достичь было сложно, и все попытки упростить этот процесс являли собой эпохи в науке. Новый подход начался со времени первых операций на костях и открытой репозиции (сопоставления) отломков. <...> Постепенно, с ростом научного и промышленного прогресса совершенствовались идеи травматологов, и в 1943 году Кюнчером был создан стержень для установки внутрь костномозгового канала. Стержень был сделан из нержавеющей стали и прекрасно удерживал отломки костей.

¹ Андрей Александрович Герасимов — зав. кафедрой травматологии и ортопедии Уральской государственной медицинской академии, доктор мед. наук, профессор, директор «Центра лечения боли».



Ф.Р. со своими учениками.

В нашей стране первые сведения об остеосинтезе стержнями появились в послевоенное время, и Фёдор Родионович страшно заинтересовался этим. К этому времени промышленный потенциал Урала имел высококачественные легированные сплавы, но они были засекречены. Доставать и использовать их было не столько трудно, сколько опасно, но остановить Богданова было трудно. Мне известно лишь, что он обращался к секретарю горкома ВКП (б) К. Николаеву и с его помощью выпустил первые интрамедуллярные стержни, начав новый этап металлоостеосинтеза на Урале и в стране.

Внедрение металлоконструкций в травматологию дало мощный стимул новым научным разработкам и изобретениям. Фёдор Родионович один из первых создал свой оригинальный стержень. Вслед за ним создавались новые стержни и новые операции. Каких только модификаций не было! <...> По истечении десятков лет в промышленном производстве остались только несколько металлоконструкций, и среди них стержень Богданова. Конструкция его стержня оказалась удачно продуманной и до сих пор удовлетворяет требованиям хирургов.

Наука не стоит на месте. Идеи погружного металлоостеосинтеза совершенствуются, созданы новые конструкции отечественных и, конечно же, зарубежных стержней. Наверное, придет время, когда стержень Богданова станет музейным экспонатом, но это будет нескоро. Скольким ещё травматологам Богданов будет давать повод для новых идей!

У Фёдора Родионовича, как у большого ученого, была интуиция на новые высокоэффективные методы лечения. Ведь именно с его лёгкой руки вышел в мир аппарат Илизарова. Мне трудно соблюсти исторические подробно-

сти, но именно к нему обратился Илизаров на начальном этапе создания своего изобретения, именно от него исходило одобрение на изучение этого метода. В последующем этот метод произвел революцию в травматологии и ортопедии. А в то время необходимо было оценить возможности и перспективность метода. Благодаря Богданову метод стал изучаться в институте. В последующем на теоретическое обоснование и клиническое использование были направлены лучшие силы института. В итоге Г.А. Илизарову за кандидатскую диссертацию была присвоена докторская степень, а метод Илизарова стал ведущим в лечении больных со скелетной травмой.

Значимость учёного и врача для медицины определить трудно. Одним из критериев <...> является то, как часто мы упоминаем его имя. Могу сказать, что имя Богданова на устах любого травматолога. Его именем названы стержни, операции, симптомы. Для уральских врачей это ещё и память о прекрасном хирурге и большом учёном.

В.И. Фишкин¹

О моём учителе

Фёдор Родионович был для меня больше, чем учитель. В 1952 году, когда после окончания Горьковского мединститута я приехал работать в Свердловск, Фёдор Родионович и его жена Наталия Ивановна были первыми людьми, которые скрасили мое одиночество, обогрели душу. Частенько Наталия Ивановна приглашала меня отобедать или принять участие во встречах с актерами, которые любили бывать в гостеприимной семье Богдановых.

Когда в тяжёлый 1952 год и в начале 1953 года против меня, как и против других сотрудников-евреев, поднялись тёмные силы, Фёдор Родионович отправил меня на дачу, где в это время жила Наталия Ивановна. Там была хорошая библиотека. И я отлично потрудился, реферируя многочисленные статьи по регенерации костной ткани.

Фёдор Родионович был удивительно талантливым организатором научного и лечебного процесса. Вспоминаю конференции, республиканские и всесоюзные. Их сценарий задолго разрабатывался Фёдором Родионовичем. <...> Конференции проходили с блеском, особенно запомнились мне конференции по детской ортопедии, в которых участвовали проф. С.Д. Терновский, тогда ещё доцент М.В. Волков, проф. Н.П. Новаченко и проф. Т.С. Зацепин. У Фёдора Родионовича было исключительно развито чувство нового. Он сам генерировал идеи и на лету подхватывал идеи своих сотрудников и ста-

¹ Валентин Израилевич Фишкин — зав. кафедрой травматологии и ортопедии Ивановского мединститута, доктор мед. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, ученик Ф.Р. Богданова



Свердловск, 1950-е годы, на даче.

Фёдор Родионович был компанейским человеком.

Первого человека слева на этой фотографии, увы, не знаю. Второго слева — М.В. Моложников — в 1930 годы заместитель директора Института ортопедии и травматологии (при директоре профессоре В. Д Чаклине), во время ВОВ — зам. начальника госпиталя № 1705 по хозяйственной части, а затем — зам. директора Института ВОСХИТО по тем же делам при директоре Ф.Р. Богданове. Далее на фотографии — Ф.Р. Богданов, справа — З.П. Пушкарёва, химик, профессор, друг Фёдора Родионовича и Н.И. Киселевской (комментарий Ю.Ф.Б.).

рался их внедрить в практику. Не знаю, сколько бы ещё пережил мытарств Г.А. Илизаров, если бы Фёдор Родионович не взял его на время в институт для демонстрации метода¹.

<...> У Фёдора Родионовича были и недостатки: он был обидчив, ревнив, иногда подозрителен, иногда резок. Но эти недостатки не идут ни в какое сравнение с богатейшей одарённостью, широкой душой и великой простотой этого человека.

¹ Г.И. Илизаров, работая в г. Кургане, разработал оригинальный аппарат для фиксации концов перелома конечностей, который сначала не признавался хирургами, но при поддержке Ф.Р. Богданова вошёл в практику. Илизаров получил за этот метод Ленинскую премию и был избран в АМН СССР.

И.Д. Глазырин¹

Человек, определивший мою судьбу

Фёдор Родионович поразил меня на первой же лекции в медицинском институте <...>. Мощный человек, <...> статный, плечистый, с выразительными глазами, дикторским тембром голоса, он покори нас студентов-третьекурсников <...> эрудицией, умением увлекательно преподносить материал лекции. <...> На лекциях Ф.Р. Богданов предлагал для студентов темы, которые ещё были не ясны науке. Однажды он предложил нам заняться вопросом регенерации мениска в коленном суставе после оперативного вмешательства. <...> И вот я, смущаясь, уже переступаю порог кабинета директора ВОСХИТО профессора Ф.Р. Богданова. При виде меня Фёдор Родионович встал из-за своего огромного директорского стола <...>, внимательно взглянул на меня поверх очков. Я изложил суть моего желания. Тут же он набрал номера телефонов <...>. Собравшимся он сказал: «Этот молодой учёный будет заниматься темой регенерации менисков в эксперименте. Необходимо создать ему все условия для научно-исследовательской работы». Совершенно потрясённый я вышел из его кабинета.

Результатом этой работы был доклад, сделанный в студенческом научном обществе, а данные моих экспериментов вошли в кандидатскую диссертацию сотрудника ВОСХИТО Л.А. Образцовой. Моя работа была направлена на 1 студенческую Всесоюзную конференцию.

<...> После окончания института я шесть лет служил в рядах Советской Армии, весьма тяготясь этим. Узнав о планирующемся сокращении армии, я обратился к Фёдору Родионовичу с просьбой о содействии в демобилизации, подчеркнув, что моя мечта — заниматься наукой. <...> Каков же был мой восторг, когда вскоре я получил ходатайство об освобождении «из рядов» на бланке института. Это сыграло решающую роль в демобилизации. И вскоре я уже стоял перед Ф.Р. в качестве младшего научного сотрудника <...>. К величайшему сожалению Фёдор Родионович уехал в Киев, но мы встречались на съездах и конференциях. <...>

В 1960 году я приехал в Киев <...> Утром, прямо с вокзала, я нерешительно позвонил в дверь его квартиры. Дверь открыл сам Фёдор Родионович, с портфелем в руках <...>. Робость моя прошла, когда он закричал жене: «Наташа! Смотри, кто к нам приехал!». Тут же побежал в ванную <...>, закатав по локоть рукава, стал мыть ванну. Приговаривая: «Сейчас ты помоешься, отдохнешь, придешь ко мне. Я покажу тебе институт,

¹ Дмитрий Иванович Глазырин — главный научный сотрудник НИИ УНИИТО, Екатеринбург, доктор мед. наук, член-корр. РАЕН, ученик Ф.Р. Богданова.

город...». Такой искренней, доброжелательной встречи мне не оказывали даже близкие родственники.

В тот же день я был представлен коллективу института как «научный сотрудник с Урала». Вечером, вместе с супругой, Фёдор Родионович показывал Киев <...>. Через несколько дней я уезжал домой. Провожал меня Фёдор Родионович, напутствуя словами «Ты обязательно должен писать диссертацию. А я помогу тебе всегда и во всём».

<...> На похоронах в Киеве от свердловчан были проф. А.В. Чиненков и я. Стоя у гроба, я видел нескончаемый людской поток пришедших проводить в последний путь этого замечательного человека. Наверно, думал я, тут немало таких, кому он помог и как хирург, и как человек, и — как Учитель.

Говорят, человек жив, пока о нем помнят. Думаю, что забвение не грозит таким людям, как прекрасный хирург, удивительный педагог, обаятельный человек — Фёдор Родионович.



Доктор Фёдор Богданов.
1928–1929 годы. Москва.



Фёдор Родионович Богданов в домашнем кабинете. Киев.
Конец 1960-х годов.



*Ю.Ф. и Ф.Р. Богдановы на биостанции
Миассово. Урал. 1958 год.*



*На даче в Раскуихе.
1957 год.*



*Фёдор Родионович Богданов и Наталия
Ивановна Киселевская в Свердловске.
Не позже 1958 года.*



*Фёдор Родионович в Токио.
Около 1965 года.*



На отдыхе под Свердловском Ф.Р. Богданов, Н.И. Киселевская и...



На даче в Раскуихе, Свердловская обл. Наташа Ляпунова и Фёдор Родионович с собаками. Август 1957 года.



Фёдор Родионович оперирует тазобедренный сустав. Институт ВОСХИТО. Свердловск. Январь или февраль 1952 года.



Студент 1-го курса биологического факультета МГУ Юрий Богданов во время каникул вместе со студентами Свердловского медицинского института наблюдает за этой операцией.



*Дача Ф.Р. Богданова в Ворзеле.
Стоят: Н.И. Киселевская и З.А. Немирович-Данченко.*



*Ф.Р. обсуждает плана операции с ассистентом.
Институт травматологии и ортопедии, Киев, 1960-е годы.*



*Дача Фёдора Родионовича в деревне
Раскуиха под Свердловском.
Фото Ю. Богданова. 1957 год.*



*На даче в Ворзеле. Фёдор Родионович
с приятельницей молодости
Зоей Александровной Немирович-
Данченко.*



*Наталья Ивановна Киселевская
(1908–1964)*



*Таисия Павловна Жаспар
(1912–1986)*



*На даче в Ворзеле: четверо Богдановых
(три поколения), Домаша и Таисия Павловна.
1970 год. Фото Н. Ляпуновой.*



*Те же лица, но Н. Ляпунова вместо Ю.Богданова, а Ю. Богданов — фотограф.
Младший (2 года) Богданов, Николай, — с пелёнок отличался подвижностью.*

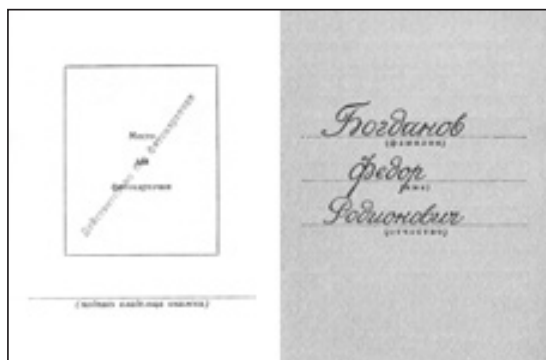


Заслуженный деятель науки
Член-к. академии мед. наук СССР
профессор

**Федор Родионович
БОГДАНОВ**

Киев, Владимирская, 9, кв. 10.
Тел. Б-9-76-70





ИЗВЛЕЧЕНИЯ

из „Общего положения об орденах Союза ССР“
(утверждено постановлением ЦИК и СНК
Союза ССР от 7 мая 1936 г.).

1. Орден Союза ССР является высшей наградой за особые заслуги в области социалистического строительства и обороны Союза ССР.

3. Орденами Союза ССР могут награждаться как отдельные граждане, так и войсковые соединения и воинские части Рабоче-Крестьянской Красной Армии, предприятия, учреждения и организации.

4. Награжденные орденом Союза ССР могут быть за новые заслуги повторно награждены тем же или другим орденом Союза ССР.

10. Награжденные орденом Союза ССР пользуются лично правом бесплатного про-



Профессор Ф.Р. Богданов с выпускниками 3-месячного курса «Хирургия-ортопедия» Киевского института усовершенствования врачей. Киев, 1960 год. За 14 лет работы Фёдора Родионовича, в Киеве таких выпусков было более 40.



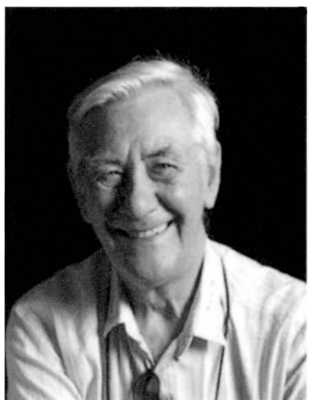
Последний приезд Ф.Р. Богданова в Свердловск. Президиум конференции, посвящённой 40-летию Свердловского НИИ травматологии и ортопедии (СНИИТО, ранее — Институт ВОСХИТО). В президиуме слева направо: министр здравоохранения РСФСР Н.П.Кочергин, вице-президент АМН СССР, академик А.И.Мясников, член-корр АМН СССР В.Д. Чаклин, член-корр АМН СССР Ф.Р. Богданов. 1972 год.



Юрий Фёдорович Богданов

Времена, события, судьбы

Семейная хроника XX века



Юрий Фёдорович Богданов, родился в 1934 г. в Свердловске (ныне — Екатеринбург), окончил биологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1957) и аспирантуру Института цитологии АН СССР в Ленинграде (1960), доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации; ветеран Российской академии наук; сотруд-

ник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта (1960–1982) и Института общей генетики им. Н. И. Вавилова (1982 — по настоящее время); специалист в области цитогенетики, соавтор и автор монографий: «Цитология и генетика мейоза» (1975), «Синаптонемный комплекс — индикатор динамики мейоза и изменчивости хромосом» (2007), «Очерки о биологах второй половины XX века» (2012) и многих публикаций в отечественных и зарубежных научных журналах, сборниках, энциклопедиях.